

Д. И. ПИСАРЕВ

ПРОМАХИ НЕЗРЕЛОЙ МЫСЛИ СТАРОЕ БАРСТВО



„Промахи незрелой мысли“ печатается по журналу „Русское Слово“ 1864 г. Декабрь.

„Старое барство“ — по журналу „Отечественные Записки“ 1868 г. Т. CLXXVI, № 2.



ПРОМАХИ НЕЗРЕЛОЙ МЫСЛИ.

I.

Прежде чем я приступлю к настоящему предмету моей статьи, я должен поправить один *промах* моей собственной *мысли*, которую я во многих отношениях считаю очень *незрелю*. Лет пять-шесть тому назад я прочитал раза два или три повести и рассказы графа Л. Н. Толстого, печатавшиеся тогда в «Современнике». Читал я их с увлечением; они мне очень нравились, но я был еще до такой степени молод, что решительно не в силах был бросить на них общий взгляд и вдуматься в настоящий смысл тех типов, которые изучил и воспроизвел граф Толстой. Внимание мое останавливалось на удивительно тонкой отделке мелких подробностей, ландшафтных, бытовых и преимущественно психологических. В эти дни моей самой ранней юности я был помешан, с одной стороны, на величии науки, о которой не имел никакого понятия, а с другой—на красотах поэзии, которой представителями я считал между прочими г. Фета и моего университетского товарища г. Крестовского. Прочитавши повести Толстого, я, разумеется, решил, что

Толстой—поэт и что я должен быть ему очень благодарен за доставленное мне эстетическое наслаждение. В 1860-м году в моем развитии произошел довольно крутой поворот. Гейне сделался моим любимым поэтом, а в сочинениях Гейне мне всего больше стали нравиться самые резкие ноты его смеха. От Гейне понятен переход к Мошоту и вообще к естествознанию, а далее идет уже прямая дорога к последовательному реализму и к строжайшей утилитарности. Когда эти переходы совершились, тогда, конечно, всякую чистую художественность я с величайшим наслаждением выбросил за борт. Мне так много надо было читать, учиться и работать, что решительно не было возможности пересматривать отдельно каждую из тех безделушек, которые составляли в совокупности пеструю кучу поэзии, возбуждавшей недавно мои юношеские восторги. Я осудил и осмеял в своем уме всю эту кучу гуртом, не боясь ошибиться, потому что общее впечатление было еще очень свежо в моей памяти. Память меня не обманула, но ведь память сохраняет только то, что вы сами даете ей на сохранение. Если вы в сумерках рассматривали какую-нибудь материю, которая тогда показалась вам прочною и красивою, то память так и отметит у себя, что, мол, в таком-то магазине есть такая-то материя, прочная и красивая. Но будет ли замеченная материя действительно соответствовать вашим ожиданиям, не разочаруетесь ли вы в ее достоинствах, когда увидите ее днем?—это уже такие вопросы, на которые никак не может отвечать ваша память. Память моя говорила мне, что пестрая куча нравилась мне своею чистою художественностью. Ум мой отвечал на это: значит, никуда не годится!—Но не было ли в этой куче, кроме чистой художественности, каких-нибудь золотых крупинок мысли, незамеченных и нецененных мною в то время, когда я способен был восхищаться только слад-

кими звуками?—это такой вопрос, которого не могли решить ни память ни ум, приносящий свой приговор на основании общих воспоминаний. Вот тут-то и случился промах. В статье моей «Цветы невинного юмора» я мельком упоминаю о литературной деятельности графа Толстого, замечаю, что публика отнеслась к ней довольно равнодушно, и объясняю это равнодушие тем обстоятельством, что в произведениях графа Толстого нет ничего, кроме чистой художественности. Это объяснение никуда не годится. В нынешнем году вышли сочинения Толстого в издании г. Стелловского. Я прочитал «Детство», «Отрочество», «Юность», «Утро помещика» и «Люцерн». На этом я покуда остановился. Меня изумили обилие, глубина, сила и свежесть мыслей. Мне пришло в голову, что критика наша молчала о Толстом или, еще того хуже, говорила о нем ласкательные пустячки единственно по своему признанному бессилию и скудоумию. Добролюбову неловко было чересчур много говорить о постоянном сотруднике «Современника», ну, а кроме Добролюбова,—известное дело,—хоть шаром покати! Аполлон Григорьев, у которого, при всей его безалаберности, были очень живые проблески мысли и чувства,—Аполлон Григорьев, говорю я, понимал, что произведения Толстого затрогивают что-то очень большое и очень важное; понимал он, что тут хорошо было бы пошевелить мозгами и кое-что разъяснить; и начал он во «Времени» статью о Толстом и, разумеется, ничего не разъяснил. Всем статьям этого критика постоянно суждено было оставаться размашистыми вступлениями во что-то такое, о чем ни Григорьев ни его читатели не имели, не имеют и никогда не будут иметь никакого понятия. Толстой остался попрежнему в тени. Его читают, его любят, его знают, как тонкого психолога и грациозного художника, его уважают, как почтенного работника в яснополянской школе; но до сих пор

никто не подхватил, не разработал и не подвергнул тщательному анализу то сокровище наблюдений и мыслей, которое заключается в превосходных повестях этого писателя. О каждом романе Тургенева кричат и спорят по крайней мере по полугоду. Толстого прочитают, задумаются, ни до чего не додумаются, да так и покончат дело благоразумным молчанием. Это молчание я попробую нарушить. В моей статье читатель не найдет, разумеется, ни похвал ни порицаний писателю. Он найдет только анализ тех живых явлений, над которыми работала творческая мысль графа Толстого.

II.

Читатели мои знают, конечно, что повести «Детство», «Отрочество» и «Юность» составляют три отдельные части воспоминаний Николая Иртеньева. Эти воспоминания начинаются с одиннадцатого и доходят до восемнадцатого года его жизни. В конце своего «Отрочества», за несколько месяцев до вступления в университет, Иртеньев сближается с князем Нехлюдовым, которого характер, набросанный довольно яркими чертами в «Юности», дорисовывается вполне в отдельных рассказах: «Утро помещика» и «Люцерн». Иртеньев и Нехлюдов принадлежат оба к тому поколению, которому во время крымской войны было около тридцати лет. Это поколение лет на десять моложе Рудиных и Печориных и лет на десять или на пятнадцать старше Базаровых. В настоящую минуту людям базаровского типа можно положить возраст от двадцати до тридцати лет; Иртеньевым и Нехлюдовым—около сорока, а Рудиным и Печориным—слишком пятьдесят. Впрочем, границы базаровского типа еще не могут быть обозначены, потому что в настоящую минуту мы не видим его конца. Трудно сделаться

раньше двадцати лет зрелым, то-есть вполне сознательным и непоколебимым Базаровым, но из этого обстоятельства никак нельзя выводить то заключение, что молодые люди, еще не достигшие двадцатилетнего возраста, составляют крайний предел базаровского типа; пятнадцатилетний мальчик, конечно, не может быть Базаровым, потому что в эти лета характер и образ мыслей едва начинают формироваться; но утверждать, что этот мальчик никогда не будет Базаровым, было бы очень опрометчиво. Напротив, можно сказать почти наверное, что через несколько лет умный пятнадцатилетний мальчик сделается непременно Базаровым.

В настоящую минуту в умственной жизни нашего общества нет еще решительно ни одного признака, на основании которого мы могли бы предположить, что на смену Базаровых вырабатывается какой-нибудь новый тип.—Иртеньевы и Рудины находятся в совершенно другом положении. Это—типы прошедшего, скромно доживающие свой век и уже не обновляющиеся притоком новых представителей. Иртеньевы и Нехлюдовы, как по своему возрасту, так и по характеру, занимают середину между Рудинными, с одной стороны, и Базаровыми с другой. Рудины—чистые говоруны, неимеющие даже понятия о возможности какой-нибудь деятельности, кроме деятельности языка. Базаровы—чистые работники, допускающие деятельность языка только в том случае, когда она содействует успеху работы. А Иртеньевы и Нехлюдовы—ни рыба ни мясо. Они за все хватаются, везде хотят произвести что-нибудь изумительно хорошее и в то же время совсем ничего не знают и решительно ничего не умеют сделать как следует. Рудины берутся за какую-нибудь работу только в самом крайнем случае, то-есть, когда им есть нечего. Да и тут работа идет у них так нескладно, что они

сидят впроголодь и ходят с разодранными локтями. У Иртеньевых жажда деятельности гораздо сильнее, чем у Рудиных, а насчет практической сметливости они друг друга стоят. Настоящее назначение Иртеньевых и Нехлюдовых заключается в том, чтобы сидеть на мягком кресле и кушать страсбургские пироги. Это—единственное занятие, которому они могут предаваться с полным успехом. Но их неугомонная добродетель никак не позволяет им удовлетворяться такую безмятежную отрасль деятельности. Их все подмывает сотворить какое-нибудь удивительно мудреное добро. Они вскакивают с мягкого кресла, хлопчут до обморока и кончают свои добродетельные упражнения тем, что разоряются в пух. Впрочем, этот результат сам по себе очень недурен, потому что некоторые обломки нехлюдовского или иртеньевского состояния попадают иногда в руки таких людей, которые, во-первых, нуждаются в деньгах, а во-вторых—умеют с ними обращаться. Таким образом, Нехлюдовы и Иртеньевы приносят иногда пользу совершенно произвольно, подобно тому, как многие люди оказывают обществу незаменимую услугу своею мирною кончиною. А между тем Иртеньевы и Нехлюдовы—люди очень неглупые и совсем не подлые. Те из них, которые родились и выросли в знатных семействах, готовы даже для совершения великих подвигов добра переломить свои привычки к роскошной жизни и разорвать свои связи с аристократическим обществом. Стало быть, в недостатке усердия их упрекнуть нельзя; и объяснить их бесполезность исключительно расслабляющим влиянием барственного воспитания было бы также не совсем основательно. Причины их практической непригодности и их бесплодных страданий оказываются гораздо сложнее и лежат гораздо глубже, чем можно было бы подумать при беглом взгляде на общий очерк их неудачной дея-

тельности. Причины эти показаны графом Толстым так ясно, так подробно и так убедительно, что мне остается только сгруппировать для общих выводов те бытовые и психологические факты, которые разбросаны в отдельных сценах и отрывочных эпизодах «Детства», «Отрочества» и «Юности».

III.

С самого раннего возраста Иртеньев чувствовал мучительный разлад между мечтою и действительностью. Вот короткий отрывок из его воспоминаний о классной комнате. «Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю? Досада перейдет в грусть и, Бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки».

Мальчишке лень, мальчишке учиться не хочется, скажут эксперты по части педагогики. Мы к этому давно привыкли, и ничего тут нет особенного.— Знаю, господа. Но именно это-то и скверно, что вы давно к этому привыкли и не видите тут ничего особенного. Это-то и скверно, что подобные истории повторяются аккуратно каждый день, в каждом семействе, в котором есть учащиеся дети. Это-то и скверно, что мы всегда принимаем господствующий обычай за закон природы. Присмотримся к тому отдельному случаю, который представляется нам в воспоминаниях Иртеньева. Ребенку хочется быть вместе с матерью

и с большими.—Зачем его туда не пускают?—Ребенку не хочется сидеть за диктовкою и за диалогами.—Зачем его к этому приневоливают?—Что за глупые вопросы? заговорят хором все читатели, эксперты и не эксперты, мужчины и женщины, старики и молодые.—Зачем? Надо же ребенку учиться! Нельзя же ему баклушничать!—А я опять свое: зачем же надо? И отчего же нельзя?—Ну! час от часу не легче! Надо ребенку учиться, например, хоть бы для того, чтобы по достижении известного возраста поступить в учебное заведение.—А зачем же ему по достижении известного возраста надо поступить в учебное заведение?—Фу, какие глупые шутки! Затем, чтобы учиться, чтобы сделаться образованным человеком, чтобы составить себе какую-нибудь карьеру.—(Слова «учиться» и «сделаться образованным человеком» приведены здесь для украшения речи. Поэтому я пропущу их мимо ушей и задам еще один вопрос, который уже окончательно выведет из терпения всех моих собеседников).—А зачем же ему надо составить себе какую-нибудь карьеру?—Что ж ему, по-вашему, собак гонять в деревне или в свинопасы определиться? Или пить, есть, спать и баловаться с горничными? Что это вы у госпожи Простаковой, урожденной Скотининой, что ли, заимствовали педагогическую философию?

Напрасно вы, волнующиеся читатели, думаете застращать меня именем госпожи Простаковой, урожденной Скотининой. Не в обиду вам будь сказано, госпожа Простакова, урожденная Скотинина, окажется гениальною мыслительницею, если мы сравним ее идеи о воспитании с тем жалким набором перепутанных и непонятых полуправил и полуфраз, который считается обязательным кодексом общепринятой домашней педагогики. У Простаковой есть одно драгоценное свойство: у нее есть последовательность, а у вас, господа эксперты, ее нет; и вы даже инстинк-

тивно боитесь ее и ненавидите эту проклятую последовательность в других людях. Простакова говорит, например, что география совсем не дворянская наука, потому что на то есть кучер, чтобы везти, куда ему прикажут безо всякого описания земли. Превосходная мысль! Изумительная логика! Самый прямой и необходимый вывод из крепостного права! Когда под мою властью находятся люди, обязанные удовлетворять всем моим потребностям и исполнять все мои прихоти, тогда я смело отрицаю всякую науку, в том числе и географию. Так всегда было и того требует сила вещей или логика истории. А просвещенные педагоги рассуждают о географии совсем иначе. Они говорят, что география есть одна из отраслей знания и что знание вообще расширяет ум человека и умягчает его душу. И, говоря эти хорошие слова, они в то же время понимают как нельзя лучше, что ни учебник Арсеньева, ни учебник Ободовского, ни учебник Павловского не расширили до сих пор ничьего ума и не умягчили ничьей души. Хорошие слова произносятся таким образом даже без малейшей надежды обмануть ими кого бы то ни было. Суждения Простаковой гораздо разумнее этих хороших слов, потому что Простакова, по крайней мере, сама крепко верит в истину того, что она говорит.—Когда Митрофанушка объявляет: «не хочу учиться, хочу жениться!»—тогда Простакова начинает его ублажать: «Ты, говорит, хоть для виду поучись! А там мы тебя сейчас и женим».—Здесь опять Простакова оказывается правдивее и благоразумнее просвещенных педагогов. Она понимает, что, когда человек не хочет учиться, тогда он может учиться только для виду. Понимая это дело так просто и разумно, она и высказывает свое желание совершенно прямо и откровенно. Просвещенные педагоги, повидимому, знают натуру детей гораздо глубже, чем знала ее госпожа Простакова; они пишут целые

статьи о том, что ребенка следует приохочивать к учению. Кроме того, они так глубоко уважают науку, что ни за что не решатся сказать воспитаннику: поучись только для виду! Но так как писать статьи и уважать науку гораздо легче, чем возиться с шаловливыми ребятами,—то при первом же столкновении с действительностью, то-есть с живым, а не с воображаемым воспитанником, просвещенные педагоги тотчас заменяют слово «приохочивать» словом «приневоливать».—Хорошие слова вставляются попрежнему в книжки и в рассуждения, а ребенок все-таки учится для виду, и педагог, изучивший детскую натуру и уважающий науку, видит это очень хорошо, но смотрит на дело сквозь пальцы или утешает себя тем известным рассуждением, что самая верная теория непременно должна пускаться на уступки при столкновениях с практикою. Значит, и в этом случае госпожа Простакова, урожденная Скотинина, может дать нашим экспертам хороший урок по части последовательности и прямоты.

Приохочивать гораздо труднее, чем *приневоливать*. Это несомненно. Если бы от каждого воспитателя требовалось непременно уметь приохочивать ребенка к учению, то, наверное, девяносто-девять сотых тех людей, которые в настоящее время называют себя гувернерами и гувернантками, были бы принуждены отказаться от своего ремесла. Отцы и матери ужаснулись бы, увидев такое запустение, отнимающее у их детей всякую надежду сделаться когда-нибудь образованными людьми, но сами дети не потеряли бы ровно ничего, потому что все, что изучается по принуждению, забывается при первом удобном случае. Десятилетнему мальчику, Коле Иртеньеву, хочется сидеть на террасе, возле матери, вместе с большими; ему хочется слушать их разговоры и участвовать в их смехе. Ребенок понимает инстинктивно свою собствен-

ную пользу гораздо вернее, чем ее понимают взрослые. Он своими ребяческими желаниями тянется именно в то место, где ему следует быть, где он может приглядываться к действительной жизни и где умные речи взрослых должны будить и шевелить его любознательность. Но взрослые гонят его прочь от себя, по известной пословице: «Знает кошка, чье мясо съела». Взрослые чувствуют очень хорошо, что их речи совсем не умные, а, напротив того, постоянно вздорные и подчас очень грязные. Присутствие ребенка стыдит и стесняет их, и они загоняют его куда-нибудь подальше, в классную, не только затем, чтобы он зубрил диалоги, но преимущественно затем, чтобы он не мозолил им глаза и не мешал им врать пошлости. С одной стороны, в этом желании удалить ребенка можно видеть смиренное сознание собственной замаранности; мы, дескать,—пустые и дрянные люди, и мы это чувствуем и поэтому мы боимся загрязнить собою нашего чистого ребенка. С другой стороны, в этом же самом желании можно видеть полную умственную пустоту и безнадежную нравственную распущенность. Мы, дескать, любим нашего ребенка, но и для его пользы и для удовольствия быть с ним вместе не оставим ни одной из наших глупых или предосудительных привычек. Значит, с одной стороны, выходит трогательно, а с другой стороны—скверно; но, кроме того, с обеих сторон глупо, потому что в большей части случаев это систематическое удаление ребенка из общества взрослых решительно ни к чему не ведет. Рано или поздно, тем или другим путем, через лакейскую или через девичью ребенок непременно узнает все тайны, семейные или физиологические, которые скрывались от него самым тщательным образом. Если ребенок считал папеньку и маменьку полубожественными существами, то он в них непременно разочаруется и будет в душе своей относиться к ним тем

суровее, чем больше они с ним лукавили. Он будет понимать их слабости, да еще, кроме того, будет презирать их за систематический обман. Туда же, скажет, на пьедестал лезут! Если ребенок полагал, что дети рождаются в капусте, то он и тут разочаруется и сверх того узнает настоящую сущность вещей от какого-нибудь смышленного сверстника с такими заманчивыми украшениями, которых не придумает ни один взрослый и которые могут сделать это открытие действительно опасным для юного слушателя. Как хотите рассуждайте, а ведь все-таки не было на свете ни одного человека, который в течение всей своей жизни считал бы своих родителей полубогами и который дожил бы до седых волос в том приятном убеждении, что дети рождаются в капусте. Из чего же мы так хлопочем о той чистоте ребенка, которая непременно должна исчезнуть без остатка при первом проблеске его умственной самодеятельности? Или может быть мы делаем это для симметрии?—Природа дает детям молочные зубы, которые потом выпадают и заменяются настоящими. Ну, а мы—должно быть, для симметрии—вкладываем им в голову молочные идеи, которые потом также выпадают и также заменяются настоящими. И для этого мы удаляем детей из нашего общества, которое все-таки, несмотря на все наши пошлости, могло бы принести им гораздо больше пользы, чем заучивание диалогов в ненавистой классной комнате.

IV.

Если старшие члены семейства—люди дельные, умные и образованные, то лучшей первоначальной школой для детей будет та комната, в которой отец и мать работают, читают или разговаривают. Ребенок всегда интересуется тем, что делают взрослые. И пре-

красно. Пусть присматривается к их работе, пусть вслушивается в их чтение, пусть старается понимать смысл их разговоров. Он будет предлагать свои вопросы; ему будут отвечать как можно проще и яснее; но в самых простых и ясных ответах ему будут попадаться некоторые вещи, превышающие его ребяческое понимание. Ему захочется поработать вместе с взрослыми; все мы знаем по вседневному опыту, с каким усердием и с какою радостною гордостью дети бегут помогать взрослым, когда они видят, что помощь их приносит действительную пользу. Но при первой попытке поработать вместе с взрослыми ребенок наш увидит, что работа только с виду кажется легкой и простою штукою, а что на самом деле тут необходима такая сноровка, которая сразу никому не дается. Любознательность ребенка будет таким образом затронута тем, что осталось для него неясным в разговорах и ответах старших. Самолюбие и стремление к деятельности будут постоянно возбуждаться в нем тем зрелищем, что вот, мол, большие работают, а я-то ни за что не умею приняться. И ребенок сам начнет приставать к отцу и к матери, чтобы они его чему-нибудь поучили; и когда, уступая этим слезным мольбам, отец и мать возьмутся за книгу или начнут показывать ребенку основные начала какого-нибудь рукоделия, тогда ребенок будет смотреть на них во все глаза и слушать, разиня рот, боясь проронить что-нибудь из тех наставлений, которых он сам добивался. Каждый наблюдательный человек может наверное припомнить множество случаев, в которых восьми или десятилетний ребенок выучился читать и писать почти самоучкою. А всякий, конечно, согласится с тем, что механизм чтения и писания составляет самую скучную и быть может даже самую трудную часть всей человеческой науки. Известна русская поговорка: «Первая колом, вторая соколом, а там

полетели мелкие пташки». Эта поговорка, весьма любезная всем кутилам, может быть приложена с полным успехом не только к поглощению вина и водки, но и ко всякому другому более полезному занятию. Везде первый шаг труднее и страшнее всех остальных. Стало быть, если даже этот первый шаг в деле книжного учения может быть сделан ребенком по собственному влечению, то о других шагах нечего и толковать. Надо только, чтобы взрослые до самого конца не изменяли великому принципу невмешательства, то-есть, чтобы всегда и во всяком случае ученик приставал к учителю, а не наоборот. Что учение может идти совершенно успешно не только без розог, но даже—что несравненно важнее—безо всякого нравственного принуждения, это доказано на вечные времена практическим опытом самого же графа Толстого в яснополянской школе. Но если вы никогда не задумывались над этим вопросом, то вы даже и представить себе не можете, какое громадное влияние будет иметь на весь характер ребенка, на весь склад его ума и на весь ход его дальнейшего развития то обстоятельство, что он с самого начала не делал в книжном учении ни одного шага без собственного желания и без внутреннего убеждения в разумности и необходимости этого шага.

Вглядитесь в развитие Николая Иртеньева, и на этом превосходном примере вы увидите, до какой степени важны и вредны могут быть первые тяжелые впечатления, вынесенные ребенком из классной комнаты. Я заметил выше, что Иртеньев рано почувствовал разлад между мечтою и действительностью. Вы скажете может быть, что все мы рано или поздно начинаем чувствовать этот разлад и что самое превосходное воспитание не может вполне предохранить человека от этого тягостного ощущения. Я с вами согласен, но не совсем. Разлад разладу рознь. Моя

мечта может обгонять естественный ход событий; или же она может хватать совершенно в сторону, туда, куда никакой естественный ход событий никогда не может притти. В первом случае мечта не приносит никакого вреда; она может даже поддерживать и усиливать энергию трудящегося человека. Представьте себе, что вы занимаетесь какою-нибудь ученою работою; вы устали, идете гулять и начинаете мечтать о том, что вы сделаете, когда труд ваш будет окончен. Вот, думаете вы, заплатят мне хорошие деньги, заговорят обо мне в журналах, дадут кафедру, поеду за границу, женюсь на такой-то, буду жить так и так. — Потом, когда прогулка ваша приходит к концу и когда наступает время спешить куда-нибудь в лабораторию, в клинику или в публичную библиотеку, вы тотчас соображаете, что для осуществления всех ваших привлекательных мечтаний вам прежде всего следует поработать. — Ну, что ж, думаете вы, разве я от этого прочь? И поработаю. Согласитесь, что в подобных мечтах нет ничего такого, что извращало или парализовало бы вашу рабочую силу. Даже совсем напротив. Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной красоте то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками, — тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни. Мечта какою-нибудь утописта, стремящегося пересоздать жизнь человеческих обществ, хватает вперед в такую даль, о которой мы не можем даже иметь никакого понятия. Осуществима ли, не осуществима ли мечта, — этого мы решительно не знаем. Видим только то, что эта мечта

находится в величайшем разладе с тою действительностью, которая находится перед нашими глазами. Существование разлада не подлежит сомнению, но этот разлад все-таки нисколько не вреден и не опасен ни для самого мечтателя ни для тех людей, на которых он старается подействовать. Сам мечтатель видит в своей мечте святую и великую истину; и он работает, сильно и добросовестно работает, чтобы мечта его перестала быть мечтою. Вся жизнь расположена по одной руководящей идее и наполнена самою напряженною деятельностью. Он счастлив, несмотря на лишения и неприятности, несмотря на насмешки неверующих и на трудности борьбы с укоренившимися понятиями. Он счастлив, потому что величайшее счастье, доступное человеку, состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно посвятить безраздельно все свои силы и всю свою жизнь. Если такой мечтатель или, вернее, теоретик действительно открыл великую и новую истину, тогда уже само собою разумеется, что разлад между *его* мечтою и нашею практикою не может принести нам, то-есть людям вообще, ничего, кроме существенной пользы. Если же мечтатель ошибался, то даже и в таком случае он принес пользу своею деятельностью. Его мечта была одностороннею и незрелою попыткою исправить такое неудобство, которое чувствуется более или менее ясно всеми остальными людьми. Значит, во-первых, мечтатель заговорил о таком предмете, о котором полезно говорить и думать. Во-вторых, он собрал кое-какие наблюдения, которые могут пригодиться другим мыслителям, более образованным, более осмотрительным и более даровитым. В-третьих, он вывел из своих наблюдений ошибочные заключения. Если эти заключения своею внешнею логичностью поразили слушателей и читателей, то эти же самые заключения побудили наверное более основательных мыслителей за-

няться серьезною разработкою данного вопроса для того, чтобы опровергнуть в умах читающего общества соблазнительные заблуждения нашего мечтателя. Экономисты, например, очень не любят социалистов. Мы с читателями твердо знаем по «Русскому Вестнику», что экономисты—люди почтенные, а социалисты—прошталыги и сумасброды. Но все-таки совершенно невозможно отрицать, что экономисты давным давно обратились бы в стадо баранов и волов, пережевывающих старую жвачку Адама Смита, если бы социалисты своими предосудительными глупостями не заставляли их ежеминутно бросаться в полемику и отражать новые нападения новыми аргументами. Стало быть, разлад между мечтою и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядывается в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтою и жизнью, тогда все обстоит благополучно. Тогда или жизнь уступит мечте или мечта исчезнет перед фактическими доводами жизни, и в конце концов все-таки получится примирение между мечтою и жизнью. То-есть или мечтателю действительно удастся завоевать себе то счастье, к которому он стремится, или мечтатель убедится в том, что такое счастье невозможно и что надо выбрать себе что-нибудь попроще.

Но есть мечты совсем другого рода,—мечты, расслабляющие человека,—мечты, рождающиеся во время праздности и бессилия и поддерживающие своим влиянием ту праздность и то бессилие, среди которых они родились. Это—маниловские мечты о лавках на каменном мосту. Мечтая таким образом, человек сам знает очень хорошо, что он не в состоянии пошевелить пальцем для того, чтобы мечта перешла

в действительность. Представьте себе, что вы бедный человек и что только самый усиленный труд может поддерживать вашу жизнь и вашу нравственную самостоятельность. В том же усиленном труде заключаются и все ваши далекие надежды на некоторое улучшение вашей незавидной участи. Лет через пять ваш хозяин прибавит вам жалованья, потом даст вам какое-нибудь более важное поручение, потом еще прибавит—вот все, на что вы можете рассчитывать; но, во-первых, все это далеко, очень далеко, а, во-вторых, все это надо взять упорным трудом. И нынче, и завтра, и послезавтра надо работать пристально, и—что гораздо труднее—надо тянуть ножки по одежке и отмеривать себе по золотникам все то, что люди зажиточные считают безусловно необходимым. И вдруг вы в этаком-то подлейшем положении начинаете мечтать о том, что как бы это было хорошо, кабы у вас было тысяч десять годового дохода; сшили бы вы себе теплую шубу; закупили бы себе хороших книг; заказали бы вашему повару обед, от которого вас не стало бы тошнить; поехали бы на лето за границу; а то хорошо было бы и в деревню поехать, чистым степным и лесным воздухом подышать, за вальдшнепами по болоту пошляться; потом не мешало бы сделать предложение той барышне, которую вы видели в зеленом бархатном салопе на Английской набережной. В вашей молодой голове складываются обаятельные подробности простого и невинного романа с самою добродетельною развязкою, и вы—герой этого романа; но вдруг герой слышит, что за соседнею деревянною перегородкою охает и ворчит старуха-хозяйка на тех шаромыжников жильцов, которые вот уже два месяца не платят денег ни за квартиру ни за стол. Вас этот ворчливый голос поражает в самое сердце, потому что завтра первое число, а за квартиру вы заплатить не можете, потому что почти все

ваше жалованье ушло на обмундирование вашего младшего брата, только что поступившего в гимназию и живущего под вашим покровительством. Голос хозяйки совершенно рассеял ваши мечты, и вы видите, что перед вами на покривившемся деревянном столе лежит какой-то глупейший конторский счет, который к завтрашнему утру необходимо проверить. И знаете вы, что вам приходится проверять в месяц сотни подобных счетов, так что даже трудно сообразить, какое незначительное число копеек вам достается за проверку каждого отдельного счета. И у вас опускаются руки; и является вопрос: зачем работать? зачем морить себя медленной смертью? И что ж это в самом деле за жизнь? И является бесплоднейшее размышление: «*tant pour les uns, et si peu pour les autres!*»—бесплоднейшее потому, что ведь вы все-таки не пошевеливаете мизинцем для того, чтобы устроить дело как-нибудь иначе. А так только: пофилософствуете, потоскуете, повздыхаете да и приметесь за проверку конторского счета, и эта работа идет у вас гораздо хуже и внушает вам гораздо более сильное отвращение после того, как вы побаловали себя ребяческими мечтами о теплой шубе, о сносном обеде и о барышне в зеленом бархатном салопе./ Вот такие мечты я называю вредными и губительными во всех отношениях. Мечты первого рода можно сравнить с глотком хорошего вина, которое бодрит и подкрепляет человека во время утомительного труда. Но последние мечты похожи на прием опиума, который доставляет человеку обаятельные видения и вместе с тем безвозвратно расстроивает всю нервную систему. Люди бедные, лишенные всех действительных наслаждений, легче других могут пристраститься к опиуму и также больше других людей способны баловать себя теми *заведомо* несбыточными мечтами, которые я сравнил с вредным наркотическим веществом. Но и зажиточные люди ухитряются иногда

губить свою жизнь, как опиумом, так и вредными мечтами. То воспитание, которое мы обыкновенно даем нашим детям, ведет их самым прямым и верным путем в безвыходную область *наркотической* мечты.

V.

Для десятилетнего Коли Иртеньева диалоги и диктовка составляют презренную и ненавистную действительность, а пребывание на террасе вместе с большими—любимую, но неосуществимую мечту. Действительность ничем не связана с мечтою. Как бы усердно мальчик ни зубрил свои диалоги и как бы успешно он ни избегал орфографических ошибок, все-таки он ни на одну секунду не приблизит к себе то желанное время, когда все будут признавать его большим, постоянно принимать его в свое общество и рассуждать и смеяться с ним, как с равным. Он сам очень хорошо понимает все это и возится с диалогами и с диктовками только потому, что так приказано и что его непременно заставят учиться, если он обнаружит слишком очевидный недостаток усердия. За диалогами и диктовками последуют более серьезные уроки; за серьезными уроками последуют университетские лекции. За последним университетским экзаменом начнется мелкая толкотня практической жизни, и молодой человек, снимая студенческий мундир, скажет себе с самодовольною улыбкою, что его научное образование окончено самым блистательным образом и что теперь надо смотреть на вещи глазами зрелого мужчины, то-есть заботиться о хорошем месте, о связях, о повышении, о протекции, о выгодных акциях, о богатой невесте, вообще о прочном и комфортабельном положении в обществе. Переходы от диалогов к серьезным урокам и от серьезных уроков к университетским лекциям и экзаменам совершаются обык-

новенно так постепенно и незаметно, что мальчик, превращающийся понемногу в юношу, в большей части случаев переносит на серьезные уроки тот взгляд, которым он смотрел на диалоги, а потом относится и к университетским занятиям так, как он относился к серьезным урокам. Все научное образование, от азбуки до кандидатской диссертации, оказывается для нашего юноши длинным и утомительным обрядом, который непременно должен быть исполнен из уважения к установившимся привычкам общества, но который все-таки не имеет никакого влияния на умственную жизнь исполняющего субъекта. Бывают, конечно, в жизни некоторых молодых людей счастливые встречи с мыслящим человеком или с очень дельною книгою; эти встречи открывают молодым людям глаза и вдруг бросают им в голову ту поразительно новую для них мысль, что наука совсем не похожа на диалоги и на диктовку, что в научных занятиях можно находить себе постоянно возрастающее наслаждение, что университет только отворяет человеку двери в область знания, что эта область беспредельна и необозрима, что умственное образование человека должно оканчиваться только с его жизнью и что умственное образование пересоздает весь характер отдельной личности и даже все понятия, обычаи и учреждения громаднейших человеческих обществ. После такой встречи наука перестает казаться молодому человеку презренною и ненавистною прозою жизни. Научные занятия перестают быть для него мертвым обрядом. Проза и поэзия, мечта и действительность заключают между собою вечный мир и неразрывный союз. Умственный труд делается для него живейшим наслаждением, потому что он видит в этом труде самое верное средство ловить и осуществлять ту любимую мечту, которая постоянно носится перед его воображением и постоянно увлекает его за собою все дальше

и дальше, вперед и вперед, в область новых размышлений, исследований и открытий. Такие счастливые встречи бывают точно; но, во-первых, не всем они выпадают на долю, а, во-вторых, далеко не все умеют ими воспользоваться, то-есть не на всех такие встречи производят сразу достаточно глубокое и прочное впечатление. Шевельнется в голове какой-то зародыш плодотворного сомнения, блеснет какая-то молния новой мысли, да тем дело и покончится, за недостатком таких материалов, которые могли бы поддержать и направить работу неопытного ума.

Таким образом, множество молодых людей остаются совершенно нетронутыми в научном отношении и выходят из университетов большими двадцатилетними школьниками, выучившими громадное количество скучных и мудреных уроков, которые после выпускного экзамена непременно должны быть забыты, и чем скорее, тем лучше. Природный ум этих молодых людей, часто очень живой и сильный, и притом, разумеется, совершенно неудовлетворенный холодными, формальными и обязательными отношениями своими к науке, совершенно отвертывается от книжных премудростей, проникается глубоким недоверием ко всякой научной теории, о которой он в сущности не имеет никакого понятия,—старается проложить себе свою собственную, совсем особенную дорогу, производит какие-то курьезнейшие эксперименты над собою и над жизнью, терпит на всех пунктах очень естественные поражения и, наконец, приходит к полнейшему банкротству, то-есть к самому безвыходному унынию и к самой тупой апатии. Такие траги-комические кувыркания неразвитого и голодного ума проявляются, например, в добросовестных усилиях какого-нибудь деревенского механика открыть *perpetuum mobile*. И такие же точно кувыркания слышатся нам ежеминутно в рассуждениях сантиментальных, но не-

образованных журналистов о почве, о народности, о недостижимых и непостижимых совершенствах русского человека, о необходимости смириться умом перед народною правдою. У кого ум наполнен только смутными воспоминаниями об учебниках Устрялова, Кайданова и Ободовского, тот, конечно, может смирить гордыню своей мысли перед мудростью любой деревенской кликуши; но кто не ограничился такою легкою умственной пищею, тот уже навсегда потерял возможность принижать свой ум до уровня вопиющей нелепости.

Очень многие читающие и даже пишущие люди серьезно и добросовестно убеждены в том, что можно сделаться превосходным человеком и чрезвычайно полезным гражданином помимо всякого научного образования. Не всем же быть учеными, толкуют они. Давайте нам только добросовестных практических деятелей. Давайте нам людей непосредственного чувства, не засушенных книжными теориями, не приучивших себя вносить всюду разлагающее начало холодного сомнения и дерзновенного анализа. Давайте нам людей строго-нравственных, преданных своему долгу, проникнутых желанием добра, способных жертвовать собою для пользы общества. И так далее. Такими восклицательными «давайте» можно наполнить целые страницы, но, к счастью, все это давно уже было высказано на сцене Александринского театра, когда г. Самойлов, в роли соллогубовского чиновника Надимова, приглашал всю почтенную публику кликнуть клич на всю Россию и вырвать взятки или, как говорилось тогда, «зло» с самым корнем. В сущности, все добрые люди, восклицающие: «давайте нам того-то и того-то», требуют невозможного, потому что в их требовании заключается внутреннее противоречие. Они говорят: «Не нужно топить в кухне печку. Давайте нам только горячего супу и жареных рябчи-

ков».—Они относятся холодно и почти враждебно к научному образованию и в то же время требуют себе таких предметов, которые не могут быть изготовлены решительно ничем, кроме того же самого научного образования. Особенно печально то обстоятельство, что дело очень часто не ограничивается нелепыми словами. Многие люди не только кричат: «давайте, давайте», но еще, кроме того, насилуют и ломают свой собственный ум и характер, стараясь домашними средствами выработать из своей личности что-то очень возвышенное и прекрасное, что-то такое, о чем они сами не могут составить себе ясного понятия и что вырабатывается из человеческой личности единственно и исключительно влиянием широкого и глубокого научного образования.

✓ Не всем надо быть исследователями—с этим я совершенно согласен. Не всем надо быть популяризаторами науки—с этим я также согласен; но всякому, кто хочет быть в жизни деятельною личностью, а не страдательным материалом, всякому, говорю я, совершенно необходимо твердо усвоить себе и основательно передумать все те результаты общечеловеческой науки, которые могут иметь хоть какое-нибудь влияние на развитие наших житейских понятий и убеждений. И это еще не все. Надо укрепить свою мысль чтением гениальнейших мыслителей, изучавших природу вообще и человека в особенности, не тех мыслителей, которые старались выдумать из себя весь мир, а тех, которые подмечали и открывали путем наблюдения и опыта вечные законы живых явлений. И надо, кроме того, постоянно поддерживать серьезным чтением живую связь между своею собственною мыслью и теми великими умами, которые из года в год своими постоянными трудами расширяют по разным направлениям всемирную область человеческого знания. Только при соблюдении этих условий

можно быть превосходным человеком, превосходным семьянином и превосходным общественным деятелем. Только таким путем постоянного умственного труда можно выработать в себе ту высшую гуманность и ту ширину понимания, без которых человеку не дается в руки ни разумное наслаждение жизнью, ни великая способность приносить действительную пользу самому себе, своему семейству и своему народу. *Превосходными* я называю только тех людей, которые развернули вполне и постоянно употребляют на полезную работу все способности, полученные от природы. Таких людей очень немного, и, вдумавшись в мое определение слова «превосходный», читатель, вероятно, согласится с тем, что человек действительно может сделаться превосходным только по тому рецепту, который я представил в предыдущих строках. Всякая другая метода умственного и нравственного совершенствования производит только глупости, ошибки, самообольщения и разочарования, разбивает разными утомительными волнениями всю нервную систему человека и, наконец, доводит его до бессилия и до апатии. Подробный, правдивый и чрезвычайно поучительный перечень таких бесплодных попыток и таких печальных *промахов незрелой мысли* представляется нам в воспоминаниях Николая Иртеньева о его юности.

VI.

Во время своего отрочества Иртеньев мечтает точь-в-точь таким же образом, как он мечтал в детстве. Краски и очертания мечты изменяются вместе с окружающей обстановкою, но основной характер остается в полной неприкосновенности: Иртеньев забавляется процессом мечтания, сознавая совершенно ясно, что он не может сделать ни одного шага для того, чтобы приблизиться к своей мечте и захватить ее в руки.

Наконец, ему однако надоедает эта пассивность. Его пробуждающийся ум начинает изобретать разные средства, которыми можно было бы сблизить мир мечты с миром вседневной жизни. Этими стремлениями—перейти от мечтательной праздности к энергической деятельности—начинается и характеризуется первая половина юности нашего героя. А вторая половина этой юности обещана, но до сих пор еще не написана графом Толстым. Я очень жалею об этом последнем обстоятельстве, но нисколько не нахожу его удивительным. Первые три части воспоминаний Иртеньева были так смутно поняты критикою и публикою, что автор мог считать продолжение своего труда несвоевременным и бесполезным. Очень жаль, что у нас до сих пор нет второй части «Юности»; но за неимением ее мы и в первой части найдем огромный запас психологического материала, о котором придется потолковать довольно подробно.

Сближение с Нехлюдовым составляет для Иртеньева ту эпоху, с которой он сам считает начало своей юности. Сближение это начинается неопределенно-страстными рассуждениями о жизни, о добродетели и об обязанностях человека,—теми милыми бреднями, к которым все очень молодые люди питают непреодолимое влечение и из которых никогда не выходит ничего, кроме горячих и очень непрочных привязанностей. После многих продолжительных бесед о высоких материях,—бесед, которые, к счастью, только подразумеваются, а не выписываются в полном своем объеме в повести графа Толстого, после многих излияний Нехлюдов и Иртеньев заключают между собою контракт, которым они обязываются помогать друг другу в процессе постоянного нравственного совершенствования.

«Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas,—говорит Нехлюдов;—*сделаемте* это, и вы увидите,

как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того, чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово *никогда, ни с кем и ничего* не говорить друг о друге. Сделаем это. — И мы действительно *сделали это*», прибавляет Иртеньев.

Трудно было придумать что-нибудь нелепее и вреднее этого взаимного обязательства. Начать с того, что оно неисполнимо. «*Признаваться во всем*» — значит признаваться в каждой мысли, которая оставила на себе ваше внимание. И наши юные друзья действительно понимают свой контракт в этом смысле; они считают этот контракт надежным громовым отводом против гадких и подлых мыслей. «Такие подлые мысли, — говорит Нехлюдов, — что ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову». Неестественный контракт, разумеется, ежеминутно нарушается. Иртеньев почти на каждой странице «Юности» признается в том, что даже во время самого разгара своей дружбы с Нехлюдовым он совершенно невольно то умалчивал, то искажал в разговорах с ним разные тонкие оттенки своих мыслей или побудительные причины своих поступков. Иногда дело доходит до настоящего актерства. В первый день своего студенчества Иртеньев затевает преглупую ссору с своим добрым знакомым Дубковым. Ссора эта, начатая из-за пустяков, кончается также пустяками. «И я тотчас же успокоился, — рассказывает Иртеньев, — притворяясь только перед Дмитрием (Нехлюдовым) рассерженным настолько, насколько это было необходимо, чтоб мгновенное успокоение не показалось странным». Это наивное признание, по видимому, даже не замеченное самим Иртеньевым, доказывает лучше всяких аргументаций, что полная

откровенность совершенно невозможна. Каждый должен быть сам полным хозяином в своем внутреннем мире, и другого полного хозяина тут не может и не должно быть. Но, заключивши свой контракт совершенно добровольно и считая его действительно очень полезным, наши молодые люди все-таки стараются соблюдать его по возможности добросовестно и постоянно осыпают друг друга разными интимными признаниями.

В этом обстоятельстве и заключается именно настоящий вред. Читатель уже заметил, вероятно, что Нехлюдов и Иртеньев оба страдают какую-то странную мыслебоязнь: контракт их направлен почти исключительно против *гадких и подлых* мыслей. Какие это такие бывают *гадкие и подлые* мысли? Я этого не понимаю. Когда я обдумываю какой-нибудь вопрос или обсуживаю характер какой-нибудь личности, то я делаю в уме своем разные предположения, рассматриваю их с разных сторон, одни из них нахожу правдоподобными, другие несостоятельными, сближаю одно предположение с другим, подтверждаю или опровергаю их различными аргументами, и, наконец, результатом всех моих размышлений является то или другое убеждение, которое определяет собою дальнейший ход моих поступков. Многие из предположений, сделанных мною во время размышления, могут оказаться совершенно нелепыми или даже оскорбительными для той особы, о которой я думаю, и все-таки в этих предположениях нет ничего дурного. Если бы я остановился на таком предположении и принял его за норму для моих поступков, тогда, конечно, я обнаружил бы несостоятельность моих умственных способностей, и оскорбленная мною особа имела бы полное право отвернуться от меня, как от пошлого дурака. Но ведь нелепое предположение не есть окончательный результат моего мышления. Это только

одна из первых или низших фаз в развитии моей мысли. Это одна из ступенек той длинной и крутой лестницы, по которой мой ум идет вверх к познанию настоящей истины. Это один из тех ингредиентов, которые, в своей совокупности, после долгой и сложной химической переработки дадут мне готовый продукт, имеющий уже практическое значение для меня и для других людей. В природе ничто не возникает мгновенно и ничто не появляется на свет в совершенно готовом виде. Самая красивая женщина и самый гениальный мужчина были все-таки в свое время очень безобразными и бессмысленными зародышами, а потом очень плаксивыми и сопливыми ребятишками. Но никому же не приходит в голову вырезать зародыш из утробы матери для того, чтобы глумиться над безобразием и тупоумием этого куска органической материи. И ни одному здравомыслящему человеку не приходит также в голову ненавидеть и презирать трехлетнего пузыря за то, что он часто плачет и плохо сморкается. Над картиною, над статуею, над научною теориею мы также произносим наш приговор только тогда, когда произведение окончено, то-есть доведено до той степени совершенства, какую только способен придать ему его творец.

Когда вы пообедали, то вы очень хорошо знаете, что в вашем желудке находится пережеванная пища в виде так называемой кашицы; вы знаете, что эта кашица имеет очень некрасивый вид и довольно неприятный запах; но вас это обстоятельство нисколько не смущает; вы преспокойно оставляете неблагоприятную кашицу там, где она должна быть, и из этой кашицы вырабатываются понемногу ваша кровь, ваши мускулы и ваши нервы, то-есть все, что дает вам возможность жить в свое удовольствие и действовать на пользу ваших ближних. Значит, некрасивая кашица—вещь очень хорошая, но если бы вы стали

вытаскивать ее из вашего желудка, показывать ее вашим друзьям и горевать вместе с ними над ее непохвальным цветом и запахом, то вы доставили бы только себе и друзьям несколько неприятных минут, а в случае частого повторения подобных проделок вы бы даже очень серьезно расстроили свое здоровье, что все-таки не обратило бы на путь истины закоснелую мерзавку кашицу. А возмущаться против тех законов, по которым совершается процесс нашего мышления, это в своем роде точно такая же нелепость, как убиваться над несовершенствами трехмесячного зародыша или желудочной кашицы.

Мысли не могут быть ни гадкими, ни подлыми, пока они остаются в голове мыслящего субъекта, который пользуется ими, как сырыми материалами. Но такое первобытное сырье совсем не должно показываться на свет, во-первых, потому, что оно часто бывает очень уродливо и бессмысленно, а во-вторых, потому, что такое заглядывание в лабораторию мысли вредит процессу умственной работы. Когда вы знаете, что вам придется представлять другому лицу доклад о том, что происходит в вашем уме, тогда вы стараетесь сами смотреть на вашу умственную работу со стороны и запоминать, в каком порядке одна мысль развивалась из другой. На этот совершенно лишний труд подглядывания и запоминания тратятся те силы, которые гораздо полезнее было бы употребить на более быстрое или более основательное разрешение затронутых вами вопросов, имеющих для вас живое практическое значение. Подглядывая за собою, вы сами раздваиваете свой ум и ослабляете или извращаете его деятельность. Стало быть, и подглядывание ваше дает вам совершенно искусственные результаты. Вы подглядели работу вашей ослабленной и извращенной мысли, а не ту естественную работу, которую вы старались определить. Может быть все гадости, в которых

вы каетесь вашему другу, произошли именно от того, что вы начали подглядывать. Известное дело, ничто так не раздражает мысль, как боязнь мысли и инквизиторский контроль над мыслью. Вы от нее отталкиваетесь, вы ее преследуете, — тут-то именно она и лезет к вам в голову, тут-то она и становится для вас неотвязным контролем.—Говорят, один алхимик открыл какому-то благодетелю своему вернейший способ делать золото. Возьмите, говорит, того-то и того-то по столько-то золотников и долей, всыпьте в такую-то посуду, поставьте на такой-то огонь, мешайте вот эту палочкою и произносите такие-то слова. Рассказал и ушел.—Благодетель сейчас принялся за работу, но на беду его добросовестный алхимик воротился назад.—Ах, говорит, самое-то главное условие я и забыл. Когда будете варить золото, ни под каким видом не думайте о белых медведях, а то ничего не выйдет.—Ну, это пустяки, отвечает благодетель. Я об них и без того никогда не думаю. Однако вышло не пустяки. Благодетель, никогда не думавший о белых медведях, стал думать о них аккуратно каждый день и притом именно в те великие минуты, когда эта проклятая мысль должна была помешать процессу волшебного брожения. Поэтому золота не получилось, но предсказание алхимика о том, что ничего не выдет, оказалось все-таки не совсем верным. Вышло то, что благодетель сошел съ ума и начал с криком и со слезами умолять своих докторов вырезать из его головы белого медведя, который будто бы съел у него весь мозг и всякий раз плюет и чихает в ту посуду, где варится самое чистое золото.

Если с Нехлюдовым и с Иртеньевым не случилось такой пакости, то они обязаны своим спасением единственно тому обстоятельству, что их желание раздавить в себе *гадкие* и *подлые* мысли было гораздо менее сильно и серьезно, чем желание благодетеля приоб-

рести себе золотые горы. Для наших юных моралистов борьба с предосудительными мыслями была только приятною потехою. Оно и в самом деле увеселительно. То маленько погресишь, то маленько пораскаешься, да легонько постегашь самого себя невестественными розгами. Вот тебе и покажется, что ты точно какое-то дело делаешь, умом своим работаешь, нравственность свою исправляешь, полезного деятеля из своей особы готовишь. Если даже и крепко гресишь и часто падаешь на пути добродетели—все это для тебя не велика беда. У тебя сейчас фарисейские утешения найдутся, потому что весь твой ум постоянно устремлен на казуистические тонкости и посредством навыка приобрел себе замечательное мастерство по части иезуитской изворотливости. Ум твой тоненьким голоском станет шептать тебе: успокойся! другие грешат вдесятеро больше тебя, но и ухом не ведут, потому что у них нет твоей чуткости. Ты неизмеримо выше их, потому что ты замечаешь за собою каждую малейшую слабость.—Ты человек высокой нравственности, потому что ты строг к самому себе.—Ты будешь слушать эти льстивые речи с глупейшею улыбкою самодовольного блаженства; но так как ты уже измощенничался насквозь, благодаря твоим любезным подглядываниям, то ты тотчас состроишь постную рожу и прикрикнешь на самого себя: молчи, мерзавец! Как ты смеешь гордиться твоими совершенствами, когда тебе следует оплакивать твои беззакония!—И вслед затем тебя еще приятнее охватит сознание, что ты ни в чем не даешь себе спуска и даже умственную гордость свою подавлять умеешь.—Да. Точно. Потеха весьма увеселительная, но еще более вредная. Во-первых—вся штука основана на глупой мысли-боязни. Во-вторых—происходит громадная трата времени. Кто действительно хочет уберечься по возможности от тяжелых практических ошибок, тот

должен не бояться *гадких* и *подлых* мыслей, а, напротив того, смело подходить ко всякой мысли и совершенно спокойно рассматривать ее со всех сторон. Не мешает еще при этом принимать в расчет ту старую истину, что тратить свои молодые годы на какие-бы то ни было увеселительные потехи—значит наверняка готовить из себя в будущем дрянного, тяжелого и несчастного человека. Но, разумеется, Нехлюдов и Иртеньев не виноваты в том, что они над собою творят. В них действует то отвращение к научным занятиям, которое вкочлочено в их головы прежним приневоливанием к диалогам и диктовкам. Болезненная мечтательность ребенка при переходе в юношеский возраст породила из себя уродливые и вредные кривляния нравственной гимнастики.

VII.

Настоящим специалистом по части нравственной гимнастики оказывается князь Дмитрий Нехлюдов, а Иртеньев является в этом отношении только его подражателем и к счастью своему останавливается на степени дилетанта. У Нехлюдова заведены какие-то расписания пороков и прегрешений; он каждый вечер пишет подробно свой дневник и еще, кроме того, записывает в особую тетрадь свои будущие и прошедшие занятия. Впрочем, собственно о его занятиях мы не имеем решительно никаких сведений. Может быть у него и времени не хватало на занятия, потому что ему было необходимо постоянно держать в порядке свою душевную бухгалтерию и подводить различные итоги в приходо-расходной книге грехов и добродетелей. Нехлюдов по университету был одним курсом старше Иртеньева, но, повидимому, во взглядах своих на науку они оба были совершенными школьниками. Нехлюдов придавал большое значение тому, чтобы

Иртеньев блистательно выдержал свой вступительный экзамен в университет и чтобы ему поставили очень хорошие баллы; а потом, когда Иртеньев сделался студентом и когда дружба между юными моралистами находилась в самом цветущем состоянии, Нехлюдов не умел возбудить в своем друге ни малейшей любви к серьезным занятиям, так что Иртеньев целый год проболтался глупейшим образом и, разумеется, провалился или *срезался* на переходном экзамене самым постыдным манером. Вообще, Нехлюдов и Иртеньев совершенно не похожи на тот тип студента, который каждому из нас хорошо знаком и дорог по нашим собственным недавним студенческим воспоминаниям.

Когда мы были студентами, мы всюду втискивали *науку*, кстати и некстати, с умыслом и без умысла, искусно и неискусно. Мы очень много врали о науке, мы часто сами себя не понимали, но наука, действительно, владела всеми нашими помыслами; мы ее любили чрезвычайно горячо и чистосердечно; мы готовы были работать и, действительно, работали; для нас жизнь была немислима без науки, и где, бывало, сойдутся два-три студента, там уже через пять минут непременно свирепствует научный спор, в котором воюющие особы наперерыв друг перед другом с восторгом обнаруживают крайнюю слабость своих фактических знаний и столь же крайнее могущество своих молодых и здоровых голосов. Много у нас было бестолковщины, но это было именно то «мутное брожение» молодой мысли, из которого «творится светлое вино» разумных убеждений и сознательного трудолюбия. Смешно было смотреть на нас со стороны, но уж совсем не грустно. И те самые пожилые и опытные люди, которые смеялись над нами, как над преуморительными мальчишками,—они сами не могли отказать нам ни в своем сочувствии, ни в своем уважении, ни даже в своей *зависти*. Им становилось

завидно, глядя на нас. Вспоминая свою собственную молодость, они признавались с глубоким вздохом нам, «преуморительным мальчишкам», что наше развитие идет более здоровым и разумным путем, что мы живем более полною жизнью, что у нас есть мысли, чувства и желания, которые им были совершенно неизвестны и которые послужат нам надежной опорой во время житейских испытаний и в «минуту душевной невзгоды».

И решительно ничего подобного нет у Нехлюдова и Иртеньева. Они оба, и особенно Нехлюдов, не возбуждают в постороннем наблюдателе никакого другого чувства, кроме глубочайшего и совершенно безнадежного сожаления о погибающих человеческих способностях. В их жизни наука не играет никакой роли. Об уме они решительно не заботятся. Им нужна только добродетель. И в то же время они насквозь пропитаны пошлостями своего общества и со всех сторон опутаны разными светскими и великосветскими связями и предрассудками. Добродетельный Иртеньев никак не может удержаться, чтобы не заявлять всем и каждому о своем родстве с князем Иваном Ивановичем, и для этого он даже однажды в семействе Нехлюдова и в присутствии самого Дмитрия сплетает экспромптом невероятнейшую ложь о даче этого князя и о какой-то удивительной решетке, ценой в триста восемьдесят тысяч рублей. А еще более добродетельный Нехлюдов всеми своими бухгалтерскими упражнениями никак не может победить в себе странную склонность бить своего крепостного мальчика Ваську кулаками по голове. Но все это еще не очень большая беда. Родиться во время полного господства крепостных понятий и всосать в себя с молоком матери фамусовскую слабость к вельможному родству—это, конечно, несчастье, но тут еще нет ничего неисправимого. Шестнадцатилетний Фамусов может

сделаться через год семнадцатилетним громителем московского чванства; и даже колотить Ваську не значит еще быть отпетым негодяем. Очень может быть, что и Базаров во времена своего детства и отрочества показывал свою барскую прыткость над ребятишками своей крепостной дворни. А потом вырос, поумнел и прекратил свои подвиги.

Главная беда Нехлюдова и Иртеньева заключается в безнадежности их умственного положения. В головах их царствует глубочайшее, непочатое невежество, и сношения их с университетом скользят по этому невежеству, не производя в нем ни малейшего изменения. Нехлюдов оказывается еще гораздо безнадежнее Иртеньева. Иртеньев за все хватается, всем интересуется и увлекается, дурачится и важничает, как настоящий шестнадцатилетний ребенок; поэтому он еще двадцать раз может перемениться и выскочить на прямую дорогу, лишь бы только нашлись в его жизни сначала отрезвляющие толчки, а потом умные товарищи и руководители. Впрочем, и на Иртеньева нравственная гимнастика положила свою проклятую печать; от привычки постоянно копаться в своих душевных ощущениях у него выработалась чудовищная мнительность и подозрительность, ежеминутно отравляющие ему все его сношения с другими людьми. В каждом слове и в каждом взгляде он угадывает какую-нибудь особенную, затаенную и обыкновенно пакостную или оскорбительную мысль своего собеседника. Так как Иртеньев от природы очень не глуп—гораздо умнее Нехлюдова—то он очень часто угадывает совершенно верно, и все-таки для него было бы несравненно лучше вовсе не обладать этим даром ясновидения. Излишняя восприимчивость какого бы то ни было чувства, зрения, слуха, обоняния, и так далее, всегда ведет за собою очень много неприятностей. Сова не может видеть днем именно оттого,

что зрение ее слишком остро и чувствительно; то количество лучей, которое нам необходимо для того, чтобы мы могли ясно различать предметы, действует на сову так сильно, что режет ей глаза и заставляет ее задвигать наглухо отверстие зрачка. Та музыка, которая нам доставляет удовольствие, оказывается мучительной для тонкого слуха кошки или собаки.

То же самое можно сказать и об иртеньевском ясновидении. Заглядывать в душу других людей—такое же пустое и неприятное занятие, как выносить другим людям напоказ свои собственные душевные тайны. Что вам за удовольствие подмечать в каждом из ваших знакомых каждое движение мелкой досады, или зависти, или скаредности, или трусости, каждое из тех мимолетных движений, которые рождаются и умирают в душе, не действуя на общее направление поступков и выражаясь только изредка в каком-нибудь подергивании губ или в какой-нибудь дребезжащей ноте голоса?! Все ваши отношения к людям сделаются только более шероховатыми, а в сущности все останется по-старому, потому что нельзя же удалиться от людей в пустыню на том основании, что люди не всегда могут и умеют быть или вполне искренними друзьями или вполне непроницаемыми актерами. А главное дело, как у вас достает времени и охоты возиться с этою психологическою дрянью? Надо быть бесконечно праздным человеком, чтобы по губам Семена Пафнутьича или по бровям Пелагеи Сидоровны читать тайные оттенки их душевных волнений. И замечательно, что это чтение *поддерживает* в человеке праздность, потому что служит ему источником неисчерпаемых исследований, которых привлекательность, разумеется, совершенно непостижима для того, кто занимается каким-нибудь полезным делом. Но, несмотря на губительную страсть Иртеньева к ясновидению, Нехлюдов все-таки гораздо безнадежнее

своего друга. Нехлюдов при своем круглом невежестве серьезен и настойчив. У него есть принципы, которые он почерпнул чорт знает из какой лужи, но за которые он держится очень крепко. Бьет он Ваську, конечно, не по принципу, а по увлечению, и принципы его осуждают эту баталию, и он совершенно убежден в том, что принципы переработают всю его природу и даже осчастливят современем всех его Васек. По своим принципам он влюбился или, точнее, *влюбил себя* в рыжую, старую, кривобокую да вдобавок еще и глупую барышню, Любовь Сергеевну, которая все беседует с ним о правилах, о сердце и о добродетелях. Граф Толстой этих бесед не выписывает, и прекрасно делает. Ведь тут уж, действительно, «мухи умрут от речей их», когда они начнут разводить свою психологию сладкими вздохами и любовным жеманством. Также по своим принципам Нехлюдов, под руководством Любви Сергеевны, едет к московскому прорицателю, Ивану Яковлевичу; и также по принципам студент второго курса Нехлюдов находит, что Иван Яковлевич—очень замечательный человек и что только самые легкомысленные люди могут считать его сумасшедшим или мошенником. А Любовь Сергеевна, по словам самого Нехлюдова, понимает совершенно Ивана Яковлевича (видите, какая умница!), часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных деньги, которые сама вырабатывает. Из всех этих доблестных подвигов рыжей барышни Нехлюдов выводит то заключение, что она—удивительная женщина, что она необходима для его совершенствования и что в нее никак нельзя не влюбиться.

Познакомившись с этими любопытными подробностями, читатель, вероятно, согласится, что голова Нехлюдова, как сплошная чугунная масса, совершенно обеспечена против вторжения каких бы то ни было современных идей. Человекολюбствовать

он может, потому что на это способна даже усердная собеседница Ивана Яковлевича, но уж дальше московского сердоболия он не пойдет. А ведь могло бы быть совершенно иначе, если бы любознательность его была затронута в детстве и если бы живая струя света и знания попала в его голову, когда над нею еще не успели воцариться мертвящие принципы нравственной гимнастики и Ивана Яковлевича. Эти принципы так безнадежно мрачны и так безвыходно-губительны для ума, для чувства и для деятельности, что в сравнении с ними даже общий колорит московской велико-светскости представляется какою-то небесною лазурью.

VIII.

История об избиении Васьки бросает такой яркий свет на специальные достоинства нравственной гимнастики, что я считаю очень полезным рассказать и разобрать этот любопытный эпизод довольно подробно. Иртеньев, только что поступивший в университет, пред отъездом своим в деревню на лето приезжает на дачу к Нехлюдовым, знакомится с семейством своего друга, проводит у них вечер и остается ночевать в комнате Дмитрия. У Нехлюдова в этот вечер разбалчиваются зубы; кроме того, он взволнован спором с своею сестрою Варенькою; дело идет в этом споре об Иване Яковлевиче. Варенька отзывается о нем с презрением, и ее непочтительные отзывы о московском предсказателе очень сильно возмущают Дмитрия, тем более, что они косвенным образом бросают тень на великие достоинства самой Любви Сергеевны, которая живет в семействе Нехлюдовых и присутствует при этом горячем споре. Кроме того, старая княгиня Нехлюдова, мать Дмитрия и Вареньки, очевидно, держит сторону своей дочери, и это обстоятельство еще более усиливает волнение юного

моралиста. Пораженный в своем обожании к Ивану Яковлевичу и разобитый зубною болью, Нехлюдов уходит в свою комнату и садится за свои вычисления погрешностей и обязанностей. В это время Васька спрашивает у него, где будет спать Иртеньев. Нехлюдов в ответ на этот неуместный вопрос топает ногой и кричит: «убирайся к чорту!» Васька стушевывается. Тогда Нехлюдов начинает *тотчас же* кричать: «Васька, Васька, Васька!» Васька входит.— «Стели мне на полу!»—командует Нехлюдов.— «Нет, лучше я лягу на полу»,—говорит Иртеньев.— «Ну, все равно, стели где-нибудь»,—ворчит Нехлюдов. Васька решительно не знает, за что ему взяться: «убирайся к чорту! Стели на полу! Стели где-нибудь», три противоречивые приказания в три минуты, и, наконец, последнее приказание совершенно неопределенное; что значит «где-нибудь»? Где ж ему стлать постель? Васька останавливается в недоумении и ждет, чтобы ему приказали толком. А в распросы пускаться он боится, потому что его только что отправили к чорту за неуместную любознательность. Васька стоит и ждет, но Нехлюдов начинает бесноваться. «Васька, Васька! Стели, стели!» И все это с криком и с неистовством. Васька окончательно теряется. Тогда Нехлюдов подбегает к нему и бьет его кулаками по голове «изо всех сил». Васька куда-то убегает, и Нехлюдов заносит в свою тетрадку новый грех.

Уже достаточно поучительно то, что Нехлюдов послал мальчика к чорту и потом обработал ему голову кулаками *в то самое время*, когда совершались упражнения нравственной гимнастики. Размышлять о неописанной красоте нравственного идеала и тут же, не сходя с места, нарушать самые простые обязанности человека самым постыдным и скотским образом,— это факт в высшей степени красноречивый. Не трудно,

кажется, сообразить, что все эти ежедневные разглядывания своего поведения не дают человеку ровно ничего, кроме педантического высокомерия и фари-сейской нетерпимости. Но дальше пойдет еще ин-тереснее.

Вы, вероятно, с нетерпением желаете узнать, какую же физиономию соорил добродетельный Иртеньев, когда на его глазах друг и руководитель его разыгрался, как пьяный дикарь. А вот, полюбуйтесь. Вот что произошло в ту самую минуту, когда избитый Васька выбежал из комнаты. «Остановившись у двери, Дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, пристыженным и любящим детским выражением, что мне стало жалко его, и, как ни хотелось отвернуться, я не решился этого сделать».

Если бы на месте Иртеньева находился человек действительно развитый и гуманный и если бы этот человек мог чувствовать хоть малейшее сострадание к негодяю, толкующему о добродетели и в то же время поднимающему руку на беззащитного и безответного ребенка, то этот развитый и гуманный человек отвернулся бы в сторону именно из сострадания к Нехлюдову, чтобы не показать ему во всем выражении своего лица того подавляющего презрения, которое возбуждено в нем этим бессовестным поруганием человеческой личности. Я вовсе не думаю утверждать, что безобразный поступок Нехлюдова должен навсегда отнять у него уважение всех честных людей. Напротив. По моему мнению, нет того злодеяния, которое могло бы положить на человека вечное и неизгладимое пятно бесчестия. Самый грязный преступник может снова сделаться мыслящим и любящим существом; и действительно развитое общество никогда не должно отнимать у ожесточенного и загрубелого чело-

века надежду на самую полную реабилитацию. Но в ту минуту, когда совершается грязное и бесчестное насилие, порядочный человек невольно отвернется от мерзавца для того, чтобы не плюнуть ему в лицо. Но Иртеньев, повидимому, так мало поражен избиением Васьки, что в самую минуту этого события все его внимание обращено исключительно на игру лицевых мускулов в физиономии Нехлюдова. Замечая в этих мускулах быстрое передвижение, вследствие которого скотское выражение бешенства переходит в гримасу слезливого раскаяния, Иртеньев совершенно забывает об участии Васьки, у которого в это время по всей вероятности лицевые мускулы также находятся в сильном движении и у которого, кроме того, созревают на черепе синяки и кровяные шишки. Иртеньев начинает соболезновать не о том, кого избили, а о том, кто бил. Того и гляди, что он подойдет к своему Дмитрию и, взяв его за руку, спросит у него со слезами в голосе: о, мой кроткий друг! о, мой сизенький голубчик! Не зашиб ли ты свою нежную ручку о поганую головушку этого грубого невежи? У него, у подлеца, такая твердая голова. И не поранил ли ты свое любвеобильное сердце припадком негодования, возбужденного в тебе закоснелостью этого пакостника. И зачем ты сам утруждал себя? Разве нельзя было отправить скверного мальчишку в ближайшую полицейскую часть для надлежащего вразумления?

В подобных излияниях дружественного сочувствия не было бы ничего особенно удивительного. Этого совсем немудрено ожидать от Иртеньева, который совершенно откровенно признается, что еще сильнее прежнего любил Дмитрия, увидев на его лице выражение стыда и кротости. Значит, вся история с Ваською показалась Иртеньеву некоторым легким проявлением юношеской резвости,—таким проявлением, которое выкупается с избытком некоторою

игрою лицевых мускулов. Окончив потасовку, Нехлюдов начинает сечь себя невещественными розгами. «Дмитрий лег ко мне на постель,—рассказывает Иртеньев,—и, облокотясь на руку, долго, молча, ласковым и пристыженным взглядом смотрел на меня. Ему, видимо, было тяжело это, но он как будто наказывал себя. Я улыбнулся, глядя на него. Он улыбнулся тоже».

Скажите, пожалуйста, какие милые младенцы! Лежат рядом на одной постельке и улыбаются, глядя друг на друга. Чему же это они так чистосердечно радуются? Оно и видно, что Дмитрий наказывал себя не в самом деле, а только как будто. Прелюбезное дело—эти невещественные розги, когда можно ими сечь себя с улыбкою наслаждения. Вот Васька так уж наверное не улыбался, потому что кулак—штука вещественная и с улыбками не совместимая. Глядя на улыбающихся младенцев, мы с читателем можем ожидать, что они немедленно заговорят о Васькиной голове даже с некоторым юмором. Однако, брат Дмитрий,—скажет Иртеньев,—ты ловко распорядился. Я и оглянуться не успел, а уж он ему четыре шишки наставил. Теперь Васька-то, я чай, почесывается. Долго не забудет, мошенник. Ну, что за важность?—отвечает Нехлюдов с некоторою скромностью.—Он у меня к этому давно привык. Ему не впервой!—Да ведь и не в последний!—подхватит с приятною усмешкою Иртеньев.—Еще бы!—закончит Нехлюдов, влагая в этот лаконический ответ самое солидное выражение барственной величавости. И знаете ли, господа читатели, подобный разговор не так противно было бы слушать, как тот, который действительно завязался между нашими улыбающимися друзьями. В том разговоре, который я сам сочинил, есть по крайней мере та прямота и простота взглядов, которыми я восхищался в госпоже Проста-

ковой. Грязь, так уж грязь наголо, без малейшей примеси солодкового корня и розовой водицы. Хочу, дескать, сокрушить морду и сокрушаю, и ни у кого на этот счет совета и позволения просить не намерен. В такой нетронутой дикости часто не бывает даже никакой силы и никаких задатков развития. Но иногда в ней есть и силы и задатки. Есть или нет—этого большею частью и разобрать невозможно. Темно, хоть глаз выколи. Ничего не видать. Но именно эта-то темнота и оставляет еще некоторую надежду. Кто его знает, может быть там и есть что-нибудь. Поэтому мерзости, совершаемые чистым дикарем, совсем не так отвратительны, как те мерзости, которые творит полу-цивилизованная особа. И всего хуже не то, что она делает мерзости, а то, что она относится к ним чрезвычайно хитро и деликатно. Каждая мерзость представляет ей удобный случай погладить себя же по головке. Дикарь ничего не знает и вследствие своего незнания не слушает никаких резонов. А деликатная особа кляузничает, то-есть пользуется своим неполным знанием, чтобы отуманивать себя и своих собеседников и чтобы во всяком случае ставить свою деликатность выше всякого сомнения, даже после совершения мерзостей. Впрочем, это уже очень старая и однако очень мало сознанная истина, что полуобразование совмещает в себе все пороки варварства и цивилизации. Все усилия мыслящих людей всех человеческих обществ уже с давних пор направлены на борьбу с полуобразованием. Нашему обществу варварство уже теперь неопасно. Я могу смело хвалить Простакову, нисколько не опасаясь, чтобы кто-нибудь из моих читателей прельстился ее идеями. Но полуобразование со всеми своими фокусами и кляузками должно внушать нам самые серьезные опасения, и тип милейших джентльменов, совместивших в себе чувствительность Манилова с остроумием Хлеста-

кова,—еще очень долго будет тормозить или извращать умственное развитие нашего общества. Ощутив на своих губах присутствие улыбки, Нехлюдов подумал, вероятно, что невещественные розги истрепались и что не мешает взять в руки новый пучок или, еще того лучше, предоставить все дело сечения добродетельному и улыбающемуся другу. И начинается вследствие этого поучительная беседа.

«А отчего же ты мне не скажешь, — сказал он, — что я гадко поступил? ведь ты об этом сейчас думал?»— Этот пошлый вопрос мог быть предложен только Нехлюдовым и рисует чрезвычайно ярко подлейшую приторность отношений, существующих между юными друзьями. Порядочный человек, сделавши гадость, даже гораздо поменьше Нехлюдовской штуки, конечно, не осмелился бы фамильярничать с своим другом, валяться на его постели, тарачить на него глаза и скалить вместе с ним зубы. Порядочный человек понял и почувствовал бы, что его другу, также человеку порядочному, неприятно, тяжело и даже больно смотреть на него в ту минуту, когда впечатление сделанного безобразия еще совершенно свежо. Тот стыд, который мы невольно чувствуем после очень глупой выходки, у человека искреннего и неизломанного бывает всегда очень целомудренным и глубоко затаенным ощущением. Пристыженный человек стусевывается, хочет, чтобы его в эту минуту все забыли, чувствует, что он тяготит других своею замаранною особою; такого пристыженного человека вам, действительно, становится жалко; вы подходите к нему осторожно, как к больному, и стараетесь подкрепить, ободрить и утешить его, и притом так, чтобы ваше приближение и ваши слова не оскорбили в нем то целомудрие стыда, которое неразлучно со всяким искренним естественным раскаянием, то-есть с томительным сознанием важной и вредной ошибки.

Но когда накуралесивший нахал сам лезет к вам с своим раскаянием, когда он преследует вас своим присутствием и пристальными взглядами, когда он приглашает вас любоваться его стыдом, когда он обращается к вам с бестолковейшими вопросами о таком деле, которое не требует ни малейшего разъяснения,— тогда вам остается только сказать: убирайся ты к чорту, скотина, с твоими глупыми подвигами самобичевания! Ты хочешь погеройствовать, силу воли твоей обнаружить, а я вовсе не расположен быть для тебя ни плетью ни пудовою гирею, которыми ты выделяешь свои дурацкие фокусы. Нельзя ли для гимнастических прогулок подальше выбрать закоулков? — Затем надо было повернуться на другой бок и оставить милейшего Нехлюдова наедине с его растрепанными чувствами.

Такой неожиданный отпор мог положить резкий конец всяким дружеским отношениям; но о такой дружбе, которая не выдерживает прикосновения голой правды, не стоит и жалеть. Туда ей и дорога. Дружба должна быть прочною штукаю, способною пережить все перемены температуры и все толчки той ухабистой дороги, по которой совершают свое жизненное путешествие дельные и порядочные люди. При такой прочности дружба—вещь драгоценная, потому что она лучше всякой другой ассоциации утроивает и учетверяет рабочие силы и мужественную энергию друзей. Но Иртеньев и Нехлюдов, как по молодости своих лет, так и по неразвитости своего ума, так и в особенности по своему совершенному незнакомству с серьезною работою жизни,—способны только к той комнатной или тепличной дружбе, которая вся основана на капризных симпатиях и распадается в прах также под влиянием минутного каприза. Нет в этой дружбе никакой серьезной причины существования, а поэтому нет и ни малейшей серьезности в отношениях между друзьями.

После истории о Ваське, когда надо было, действительно, сказать другу очень жестокое слово или, еще лучше, не говорить совсем ничего, Иртеньев мямлит, миндальничает и говорит бесцветные плоскости; а потом через год, когда дружба утратила прелесть новизны, тот же кроткий Иртеньев в минуту чисто личного и совершенно беспричинного раздражения высказывает Нехлюдову, без малейшей надобности, самые резкие и оскорбительные истины. Между тем можно сказать наверное, что два-три безжалостно правдивые слова, произнесенные Иртеньевым по поводу Васькиной головы, подействовали бы на Нехлюдова гораздо сильнее и неизмеримо глубже, чем целые десятилетия нравственной гимнастики. Но, чтобы сказать человеку такое слово, которое вывернуло бы наизнанку всю его душу и не забылось бы им до седых волос, надо быть не Иртеньевым, а чем-нибудь почище и покрепче. У Иртеньева же выходит вот что:—«Да, это очень не хорошо, я даже и не ожидал от тебя этого. Ну, что зубы твои?»—Хотя невозможно выдумать что-нибудь бесцветнее этого скромного порицания, однако, крутой поворот к зубам показывает ясно, насколько Иртеньев стоит выше Нехлюдова. Видно, что Иртеньеву все-таки тяжело говорить пустячки о такой крупной гадости, а говорить о ней серьезно он или не умеет или совестится, вот он и сворачивает в сторону при первом удобном случае. Но Нехлюдов не понимает, что его другу тяжел этот разговор, и пускается в длинные и совершенно бесплодные размышления на ту же печальную тему. Вот его слова:—«Прошли. Ах, Николенька, мой друг!—заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах. (Удивительная логика! поколотил Ваську, а подлащивается к Николеньке, точно будто именно перед Николенькой виноват.)—Я знаю и чувствую, как я дурен,

и Бог видит, как я желаю и прошу Его, чтоб Он сделал меня лучше, но что ж мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? Что же мне делать?»

О, милейший моралист, как же вы плохи по части опытной психологии! Вы спрашиваете, что вам делать, чтоб не колотить Ваську? А вот что. Объясните мне, почему вы не поколотили вашу сестру, Вареньку, которая очень разогорчила вас во время спора, а поколотили Ваську, который ничем вас не обидел и не мог обидеть? Главная причина та, что в спокойные минуты вашей жизни вы обращаетесь с вашей сестрою совсем не так, как с Ваською. Переход от почтительного и дружелюбного обращения к ударам почти невозможен. Поэтому вы сестре вашей сказали только вежливую колкость; горничной, пришедшей узнать о ваших зубах, крикнули: «Ах, оставьте меня в покое!», а мальчика, которого вы зовете «Васькой», послали к чорту, а потом прибили кулаками. Градация соблюдена вполне. Значит, если вы действительно желаете, чтобы Васькина голова была в безопасности, обращайтесь с ним в спокойные минуты вежливо и даже почтительно. Называйте его не только полным именем, но даже по имени и отчеству и говорите ему «вы». Это, конечно, очень смешно—называть крепостного мальчишку Василием Степановичем или Василием Антоновичем, но вы, как великий моралист, должны находить, что лучше быть посмешищем для дураков всей Москвы и даже целого мира, чем быть грязным и подлым злодеем. Если вы, не боясь насмешек умных людей, преклоняетесь перед Иваном Яковлевичем, то в деле Васьки вы и подавно должны поставить себя выше зубоскальства ваших пустоголовых знакомых, которые сначала поболтают и посмеются, а потом и привыкнут к вашей необыкновенной почтительности.

Послушаем теперь вашу дальнейшую иеремиаду. «Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. (Вы были не один, когда колотили Ваську.) Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. (Выражаясь яснее, вам необходимы люди, которые хвалили бы вас за красоту души и твердость воли. Невещественные розги и невещественные пряники—без этих пособий вы не можете быть порядочным человеком.) Вот Любовь Сергеевна, она понимает меня и много помогла мне в этом. (Оно и заметно по всему!?) Я знаю по своим запискам, что я в продолжение года уже много исправился. (Приятно слышать. Значит, поскольку же синяков в день ложилось прежде на Васькину голову? До исправления, его голова была в своем роде очень любопытную летописью. Примечайте, кроме того, как уже в последней фразе тон слезливого раскаяния переходит в тон тихого самовосхваления. Это значит, милое дитя уже потянулось за невещественным пряником.) Ах, Николенька, душа моя!—продолжал он с особенной непривычной нежностью и уж более спокойным тоном после этого признания:—как это много значит влияние такой женщины, как она! Боже мой, как может быть хорошо, когда я буду самостоятелен, с таким другом, как она! Я с ней совершенно другой человек». (Что значит эта последняя фраза? Значит ли это: «я ее не бью, как прибил Ваську», или же это значит: «я никого не бью, когда нахожусь под ее влиянием». В первом случае—это бессмыслица. Во-втором—это сладкая ложь. Вы, господин Нехлюдов, ходили к Любви Сергеевне и беседовали с нею как раз перед той минутой, когда Васька предложил вам первый вопрос о постелях. Или может быть вы хотите сказать, что только «в ее присутствии» вы совсем не бесчинствуете. Это без сомнения делает вам

много чести, но ведь от этого мало пользы. Стало быть, когда вы женитесь на ней, вы будете находиться безотлучно при ее особе; а чуть она на минуту отвернулась—тут сейчас и пойдет крушение физиономий? Вернее же всего, что вы просто сказали одну из тех совершенно бессмысленных фраз, без которых жить не могут все моралисты, подобные вам и вашей Любове Сергеевне.) Затем друзья наши забывают совершенно презренную прозу жизни, и Дмитрий начинает «развивать свои планы женитьбы, деревенской жизни и постоянной работы над самим собой». Оба совершенно веселы и болтают «до вторых петухов». Приятная и полезная беседа заканчивается следующими словами:—«Ну, теперь спать»,—сказал он.—«Да,—отвечал я,—только одно слово».—«Ну?»—«Отлично жить на свете!»—сказал я.—«Отлично жить на свете»,—отвечал он таким голосом, что я в темноте, казалось, видел выражение его веселых ласкающих глаз и детской улыбки».

О, прелестные малютки! что за «атласистость сердечная», как говорит г. Щедрин о своих глуповцах! «Отлично жить на свете!» Как вам это нравится? Это—заключительный вывод из того ряда размышлений, который был вызван актом подлейшего насилия. Преступление и раскаяние не оставили после себя решительно ничего, кроме беспричинного восторга и полнейшего самодовольства, и все это в течение одной короткой летней ночи. Это стоит матери Гамлета, с ее неизношенной парой башмаков. И ни один из юных моралистов не оглянулся назад на исходную точку разговора. Трех или четырех часов, посвященных глупейшим мечтам, было совершенно достаточно, чтобы решительно сбить их с толку и отшибить у них всякую память. Ведь они бы побледнели и вскрикнули от ужаса, у них выступил бы холодный пот на лбу и дыбом поднялись бы волосы, если бы

один из них догадался задать другому вопрос: с чего мы начали и к чему мы пришли? И что же это значит, что такое начало привело нас к такому заключению? И как же это мы ухитрились извлечь для себя превеликое удовольствие из... из... стыдно и страшно сказать, из чего? Где же наше нравственное чувство, где наша любовь к людям, где же, наконец, наш ум? Любовь к людям! Подумал ли в самом деле Нехлюдов на минуту о том, как бы утешить избитого ребенка? Даже намека не было на подобную мысль. Нехлюдов и не помышляет о том, чтобы ласкою, добрым словом и добрым делом уменьшить то впечатление боли, которое он нанес живому существу; он старается только соскоблить как-нибудь то отвлеченное пятно, которое он положил на свою собственную опрятную личность и щекотливую совесть. Бездушный фарисей остается верен себе в мельчайших подробностях. Да и совесть-то совершенно по-фарисейски засыпает очень быстро во время приятного разговора. И эти-то дрябленькие человечки, с таким неразвитым умом, который в течение трех или четырех часов уже теряет из виду руководящую идею разговора, эти-то маленькие и жалкие созданыица берутся тоже рассуждать о высших вопросах жизни, нравственности и общего мирозерцания. Точно пятилетние дети, толкующие о том, как они пойдут в гусары или в кирасиры! Поучиться надо сначала, милые малютки. Тогда авось и поумнеете и в гусары поступите. А до тех пор играйте в куклы или, иначе, размышляйте о трюфелях и пулярках.

IX.

Доживши до девятнадцати лет и дойдя до третьего курса университета, князь Дмитрий Нехлюдов убеждается в том, что он достаточно образован и что ему

давно пора приниматься за практическую деятельность. Он приезжает на лето в свое имение, видит там, что мужики его разорены до тла, и, решившись посвятить свою жизнь на улучшение их участи, выходит из университета с тем, чтобы навсегда поселиться в деревне. Очерк его сельско-хозяйственной деятельности представлен графом Толстым в отдельной повести: «Утро помещика». Нехлюдов занимается своим делом бескорыстно, добросовестно и очень усердно. По воскресеньям, например, он обходит утром дворы тех крестьян, которые обращались к нему с просьбами о каком-нибудь вспомоществовании; тут он внимательно вникает в их нужды, присматривается к их быту, помогает им хлебом, лесом, деньгами и старается посредством увещаний внушать им любовь к труду или искоренять их пороки.

Один из таких обходов составляет сюжет нашей повести. Приходит Нехлюдов к Ивану Чурисенку, просившему себе каких-то кольев или сошек для того, чтобы подпереть свой развалившийся двор. Видит Нехлюдов, что все строение, действительно, никуда не годится, и Чурисенок рассказывает ему совершенно равнодушно, что у него в избе накатина с потолка его бабу пришибла. «По спине, как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала». Нехлюдов, думая облагодетельствовать Чурисенка, предлагает ему переселиться на новый хутор, в новую каменную избу, только что выстроенную по герардовской системе. «Я,—говорит,—ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь». Но Чурисенок говорит: «Воля вашего сиятельства», и в то же время прибавляет, что на новом месте им жить не приходится; а баба, та самая, что замертво лежала, бросается в ноги к молодому помещику, начинает выть и умоляет барина оставить их на старом месте, в старой разваливающейся и опасной избе. Чурисенок, тихий

и неговорливый, как большая часть наших крестьян, придавленных бедностью и непосильным трудом, становится даже красноречивым, когда начинает описывать прелесть старого места. «Здесь на миру место, место веселое, обычное; и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить—и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огорошка, и ветлы—вот, что мои родители садили; и дед и батюшка наши здесь Богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу». Что тут будешь делать? Нельзя же благодетельствовать насильно. Нехлюдов отказывается от своего намерения и советует Чурисенку обратиться к крестьянскому миру с просьбою о лесе, необходимом для починки двора. К миру, а не к помещику приходится обращаться в этом случае потому, что Нехлюдов отдал в полное распоряжение самих мужиков тот участок леса, который он определил на починку крестьянского строения.—Но у Чурисенка на всякое дело есть свои собственные взгляды, и он говорит очень спокойно, что у мира просить не станет.—Нехлюдов дает ему денег на покупку коровы и идет дальше. Входит он во двор к Епифану или Юхванке-Мудреному. Нехлюдову известно, что этот мужик любит по-своему сибаритствовать, курит трубку, обременяет свою старуху-мать тяжелою работою и часто продает для кутежа необходимые принадлежности своего хозяйства. Теперь Нехлюдов узнал, что Юхванка хочет продать лошадь; помещик хочет посмотреть, возможна ли эта продажа без расстройств необходимых работ. Оказывается, что продавать не следует, и Нехлюдов решительно запрещает Юхванке эту коммерческую операцию. Юхванка в разговоре с барином лжет ему в глаза самым наглейшим образом и нисколько не смущается, когда Нехлюдов на каждом шагу выводит его на свежую воду.

Нехлюдов, как юноша и моралист, старается растрогать Юхванкину душу увещаниями и упреками, а Юхванка, продувная бестия, каждым своим словом показывает своему барину совершенно ясно, что он непременно расхохотался бы над его советами, если бы его не удерживало тонкое понимание галантерейного обращения.—Пороть меня ты не будешь,—думает Юхванка,—потому что совсем никого не порешь; на поселение тоже не сошлешь—пожалеешь; а в солдаты я не гожусь, спереди двух зубов нету. Значит, ничем ты меня не озадачишь, и на все твои разговоры я вежливым манером плевать намерен.—И Нехлюдов, совершенно отменивший в своем хозяйстве телесные наказания, до такой степени живо чувствует свое бессилие перед сорванцом Юхванкой, что принужден по временам умолкать и стискивать зубы для того, чтобы не расплакаться тут же на Юхванкином дворе перед глазами нераскаянного грешника. Кончается визит тем, что барин, строго запретив продавать лошадь, тайком от беспутного Юхванки, дает денег его матери на покупку хлеба.—

Затем следует картина другого беспутства. У Давыдки Белого нет в избе ни крошки хлеба; весь двор представляет собою мерзость запустения, а сам Давыдка целые дни и ночи лежит на печке под тулупом, даже весь отек и распух от сна. Барин будит «ленивого раба» и начинает аргументировать, очень убедительно доказывая необходимость труда. «Ленивый раб слушает тупо и покорно». Он молчал; но выражение его лица и положение всего тела говорило: «знаю, знаю, уж мне не первый раз это слышать. Ну, бейте же; коли так надо—я снесу. Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил скорее в покое». Приходит в эту минуту мать Давыдки, деятельная и бойкая женщина, которая

одна работает за весь свой двор. Она начинает жаловаться на своего лядящего сына, ругает и дразнит его, рассказывает, что жена Давыдки извела себя тяжелою работою, а потом умоляет барина, чтоб он во второй раз женил беспутного лентяя. Нехлюдов говорит: с Богом! но штука заключается в том, что за Давыдку ни одна девка по своей воле не пойдет и что мать просит у барина не позволения для Давыдки, а приказания для девки. Барин отвечает ей, что это невозможно, что хлеба он им даст, а невесту сватать не берется. Потом Нехлюдов пошел к богатому мужику Дутлову, предложил ему очень выгодное помещение для его денег, но мужик, разумеется, съезжился и тщательно затаил свой капитал от помещика, и барин извлек из этого посещения только тот результат, что его маленько покусали дутловские пчелы, потому что он забрался на пчельник и по юношеской храбрости не пожелал надеть предохранительную сетку. Нехлюдов отправляется домой и по дороге задумывается. «Разве богаче стали мои мужики?—думает он,—образовались или развились нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжеле. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность... но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни,—подумал он, и ему почему-то вспомнилось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем; что денег у него в конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина к общему смеху мужиков только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый раз при многочисленной публике пустили в ход в молотильном сарае; что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями».

Странная и печальная история! Ум, молодость, энергия, стойкость, человеколюбие,—все, что делает человека сильным и полезным, все это есть у Нехлюдова, все это проявляется в его отношениях к крестьянам и все это приводит за собою только неудачи и разочарование и в конце концов безотрадное сознание той несомненной истины, что «им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжелее». Причина всей нескладицы заключается в том, что Нехлюдов—ни рыба ни мясо и что он, вследствие этой двусмысленности и неопределенности своего положения и своего развития, самым добросовестным образом старается влить вино новое в меха старые. Задача неисполнимая: меха ползут врозь, и вино проливается на пол, или, говоря без метафор, новая гуманность пропадает без пользы и даже приносит вред, когда приходит в соприкосновение с старыми формами крепостного быта. Если бы дедушка или может быть и папенька Нехлюдова приехал в свое имение с целью поправить расстроенное хозяйство мужиков, то по всей вероятности он в первую же неделю после своего приезда перепорол бы половину деревни, начиная, разумеется, с крепостных приказчиков, бурмистров, старост и всяких других деревенских властей. С таким помещиком Юхванка перестал бы быть «мудреным», и Чурисенок переселился бы на новый хутор без малейшего красноречия. Если бы, кроме неумолимой строгости, у этого помещика была малая толика практического ума и хоть какое-нибудь даже самое рутинное знание сельского хозяйства, то в пять-шесть лет мужики, действительно, поправили бы свои делишки и дошли бы до той степени сытого довольства, которую пользуются быки и бараны благоустроенного скотного двора и которая в крепостном быту составляет предел, его же не преидеши. И грозный помещик, с своей точки зрения, мог бы сказать, что он

свято исполнил свою гражданскую обязанность, потому что, разумеется, он стоит неизмеримо выше тех современников своих, которые проживают свои доходы в столицах, предоставляя своих мужиков в бесконтрольное распоряжение управляющих и бурмистров. Да этого еще мало. Грозный помещик стоит даже выше такого почти идеального помещика, каким является нам Нехлюдов.

Для помещика не было середины. Он мог быть или суровым властелином или дойною коровою. На первый взгляд может показаться, что второй тип лучше, отраднее и полезнее первого, но это—только на первый взгляд. Дойная корова побалуует мужиков три-четыре года, а потом и протянет ноги тем или другим манером. Самый простой и естественный результат этого сантиментального баловства обнаруживается нам в истории Нехлюдова: в конторе ни копейки денег; имение просрочено; его опишут, возьмут в опеку, разорят еще хуже, а потом продадут с аукционного торга, и мужикам, привыкшим к доению коровы, придется так скверно при перемене системы, что хоть в петлю полезай. Ясно, кажется, что новое вино пролилось на пол. Но, разумеется, тип сурового властелина, в свою очередь, хорош только в той мере, в какой могло быть что-нибудь хорошее при существовании крепостной зависимости. Сытое довольство скотного двора, очевидно, не благоприятствует развитию высших способностей человеческого ума и не может создавать людей с сильными и самостоятельными характерами. Вам случалось, вероятно, видеть, как быстро спиваются с кругу и затягиваются в тину самого оподляющего разврата именно те юноши, которые при жизни своих строгих родителей поражали вас своим безукоризненным и даже неестественным благонаравием. «Эх, кабы старики-то были живы!» говорят обыкновенно в этих случаях старые друзья покойни-

ков, совершенно упуская из виду то, что именно самито покойники приготовили в течение всей своей жизни всю ту кутерьму, которая разыгралась на другой день после их строгости. Ежевые рукавицы отняли у подвластного человека возможность приобретать себе самостоятельный житейский опыт, а неопытность оказалась тою широкою дорогою, по которой поехали на человека всякие искушения и всякие ошибки. Такая-то участь и постигает обыкновенно мужиков грозного помещика, как только ослабевают или прекращается давление его тяжелой руки.

Нехлюдову следовало все это сообразить прежде, чем он приехал в деревню и предпринял свои благотворительные нововведения. Надо было сказать себе: грозным помещиком я быть не могу, если бы даже и желал им сделаться. Дойною коровою я не хочу быть, потому что это глупо и бесполезно. Значит, если я чувствую потребность расположить мои отношения к крестьянам сообразно с моими гуманными стремлениями и убеждениями, то мне остается только одна дорога: надо осторожно развязать и потом совершенно уничтожить все обязательные отношения, существующие между мною и этими людьми. Приступая разумным образом к освобождению своих крестьян, Нехлюдов должен был прежде всего освободить самого себя от крепостной зависимости. Он живет трудами своих мужиков или, другими словами, доходами с своего имения. А человек, который серьезно желает сделать в своей жизни что-нибудь действительно полезное, должен непременно жить своими собственными трудами. Кто не в состоянии без посторонней помощи прокормить самого себя, тому нечего и думать о какой бы то ни было деятельности на пользу других. Поэтому Нехлюдову надо было прежде всего узнать свои собственные способности и выучиться какому-нибудь хлебному ремеслу. Сде-

лался ли бы он сапожником или писателем, профессором или кузнецом, машинистом или медиком, это уже совершенно все равно, и это вполне зависит от собственной его умственной и вообще физической организации. Важно только то, чтоб он стал в совершенно независимые отношения к своему собственному капиталу, в чем бы этот капитал ни заключался, в крепостных ли мужиках, или в земле, или в деньгах.

Весь смысл вещей, весь мир неодушевленной природы и живых людей совершенно изменяются в глазах человека, когда этот человек чувствует и сознает, что он сам—рабочая сила и что в нем самом, в его голове и в его руках, заключается совершенно достаточное обеспечение его существования, является смелость и предприимчивость, непостижимые для капиталиста, который знает очень хорошо, что капитал его лежит вне его личности, что этот капитал может быть утрачен и что личность капиталиста, после разлуки с своим капиталом, должна превратиться в нуль или, еще вернее, в минус. Работник, владеющий капиталом, может позволять себе такую роскошь, на которую никак не может отважиться простой капиталист; он может рисковать своим капиталом из любви к своей идее; например, он может тратить его на научные опыты, на ученые экспедиции, на проведение в жизнь своих гуманных тенденций. Он может ставить последнюю копейку ребром, а такая способность выдерживать, не бастуя и не уменьшая ставки до самого конца игры, бывает часто совершенно необходима для успеха всего предприятия. Кроме того, кормить себя собственным трудом—значит относиться к какому-нибудь практическому делу совершенно серьезно и добросовестно, без всякой примеси шарлатанства или дилетантизма. Чтобы относиться таким образом к какому бы то ни было делу, надо

уже кое-что знать, надо предварительно присмотреться и к самому себе и к разным особенностям житейской практики. Вследствие этого, кроме смелости и предприимчивости, у работника есть опытность и сметливость, недоступные очень многим из тех людей, которые спокойно питаются процентами с своих капиталов. Значит, работник будет действовать смело, но расчетливо, то-есть рисковать только там, где действительно надо рисковать и где важность успеха совершенно окупает собою неверность предприятия. Итак:

Нехлюдов должен прежде всего сделать из себя работника и испытать силы своего ума и характера над решением той задачи, которая задается в жизни огромному большинству людей, то-есть над самостоятельным прокормлением собственной особы. Для этого ему надо было бы непременно кончить курс в университете, а потом еще поучиться очень серьезно в продолжение нескольких лет, во-первых, для того, чтобы найти себе специальность, а во-вторых, для того, чтобы достаточно усовершенствоваться в этой специальности. Если бы Нехлюдов после такого приготовления решился поселиться в деревне, то он, вероятно, придумал бы там не свистелку, а настоящую молотилку. Дальнейший же ход эмансипационной работы не представляет никаких особенных затруднений. Если имение заложено и если бы вследствие этого нельзя было отпустить на волю крестьян, то надо сначала выкупить имение, а для человека, который живет собственным трудом и, стало быть, не нуждается в доходах, это дело окажется совершенно исполнимым. Выкупил, отдал крестьянам полный надел земли, остальную землю продал в другие руки для того, чтобы крестьяне видели возле себя просто богатого соседа, а не своего бывшего барина, связанного с ними патриархальными преданиями и обязан-

ного оказывать им разные щедроты; совершил все формальности, отпускные, дарственные, купчие, да и уехал с вырученными деньгами заниматься своим ремеслом. Вот самое простое и единственно возможное решение той задачи, над которой так усердно и так безуспешно трудится Нехлюдов. Посвящать всю свою жизнь крестьянам нет решительно никакой надобности. Пожалуйста, не посвящайте! Ведь из этого посвящения выйдет только то, что вы будете тратить деньги, заработанные крестьянами, или на бестолковые благодеяния или на сооружение свистельных машин. Почему вы знаете, что вы способны быть помещиком, т.-е. агрономом, скотоводом и отчасти администратором? Потому что вам досталось от отца имение в семьсот душ? Это—причина неудовлетворительная; тогда, значит, сын сапожника должен быть сапожником, потому что отец оставляет ему в наследство колодку и шило. Таким путем мы приходим к индейским кастам, то-есть к систематическому подавлению всякой личной оригинальности. Такого результата не может желать ни один здравомыслящий человек, и, стало быть, вы, господин Нехлюдов, должны быть не помещиком, а может быть учителем математики или архитектором или чем-нибудь другим, смотря по тому, каковы ваши личные способности. А чтобы узнать свои способности, вы должны учиться, читать, размышлять, говорить с умными людьми, а не закупоривать себя в деревне и не аргументировать с Юхванкой и с Давыдкой.

Значит, с какого конца ни возьми дело, везде оказывается все та же самая беда: незнание и опять таки незнание. Где нет прочного знания, там вы не замените его ни усердием, ни добродушием, ни чистотою сердца, ни целомудрием, ни даже Иваном Яковлеви-чем. Все будет скверно, и все постоянно будет становиться хуже да хуже.

Собственно для того, чтобы осветить с разных сторон эту очень старую истину, я остановился так долго на разборе повести: «Утро помещика». Иначе не зачем было бы говорить о ней так подробно, потому что крепостные отношения, изображенные в этой повести, уже давно укатились в вечность «hinaus in's Meer der Ewigkeit», как говорит Шиллер в своих «Идеалах». Но вопрос о знании и полужнании стоит постоянно наочереди.

Х.

В последний раз мы встречаем нашего старого знакомого, князя Нехлюдова в небольшом рассказе «Люцерн». Он, то-есть не рассказ, а Нехлюдов, путешествует по Швейцарии и записывает свои путевые впечатления. Рассказ «Люцерн» составляет маленький отрывок из этих записок. Действие происходит в Люцерне и относится к 7-му июля 1857 года. Князю Нехлюдову в это время, по моим хронологическим соображениям, должно быть около 35 лет. Его характер надо считать уже окончательно сложившимся. Вот мы теперь и посмотрим, какой результат выработался из тех задатков, с которыми мы познакомились выше. Остановившись в лучшей люцернской гостинице Швейцергофе, Нехлюдов из окна своей комнаты начинает очень сильно восхищаться видом озера, гор и вообще всякой другой природы. «Мне захотелось,—говорит он,—в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное». Однако, он никого не обнял, не защекотал и не ущипнул, вероятно, потому, что его восторги в значительной степени охладились видом набережной, «прямой как палка» и возбудившей в нем с самой первой минуты непримиримую ненависть. «Беспрестанно,—жалуется

он,—невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно». Война Нехлюдова с белою палкою набережной прерывается тем, что его зовут обедать за общий стол. За обедом для Нехлюдова начинаются новые огорчения. Его чрезвычайно волнует то обстоятельство, что странствующие англичане, которыми переполнен Швейцергоф, сидят слишком чинно и занимаются во время обеда процессом еды, а не веселыми разговорами. Во время обеда он размышляет об английской холодности, а потом разогорченный ею до глубины души идет шляться по городу в самом невеселом расположении духа. Тут ему становится еще грустнее. «Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжело, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место». Но в это время какой-то уличный музыкант заиграл на гитаре и начал петь песни, и Нехлюдову вдруг сделалось ужасно хорошо и даже очень приятно жить на свете. «Все воспоминания, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий, благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? сказалось мне невольно,—вот она со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо...»

Набережная перед глазами—досадно! Англичане молчат—грустно! На гитаре заиграли—ужасно весело! Как вам нравится такой человек, у которого вся нервная система постоянно скрипит и ноет так или иначе в ответ на каждый ничтожный и мимолетный звук из окружающего мира? Таких людей называют многие впечатлительными, отзывчивыми, тонко-чувствительными, художественными натурами; известное дело, нет той дряни, которую нельзя было бы украсить каким-нибудь ласкательным эпитетом; но мне кажется, что такие тонко-организованные субъекты очень похожи на тех несчастных больных, которые, напитавшись ртутных лекарств, превращаются в ходячие барометры, то-есть чувствуют ломоту в костях перед каждою малейшею переменою погоды. Эта тонкость организации есть не что иное, как совершенное расстройство нервной системы,—расстройство, порожденное праздностью и бестолковою суетливостью. За неимением серьезной цели и полезной работы, ум кидается на пустяки, гоняется за призраками, раздражается своими тщетными попытками поймать то, что никому не дается в руки, и, наконец, благодаря таким упражнениям, человек доходит до какого-то полусумасшествия: постоянно волнуется, постоянно о чем-то хлопочет и сам не только не может, но даже и не пробует объяснить себе, чего ему надо и о чем он грустит, чему радуется и какой смысл имеют все его пошлые бури в стакане воды. Когда человек дошел до такого безнадежного положения, тогда, разумеется, смешно и ожидать от него какой-нибудь деятельности; тогда надо его просить об одном: сядь ты, голубчик, на место и постарайся поменьше кричать и кривляться. Но он и этой просьбы исполнить не в состоянии; он все поет и все прыгает и ежеминутно откалывает такие удивительные штуки, каких ни один здра-

вомыслящий человек нарочно не сумел бы придумать.

Князь Нехлюдов находится именно в этом положении совершенного умственного банкротства. Мысль и чувство его истрепались и измельчали до последней крайности и делают ежеминутно нелепейшие скачки, не имея уже сил остановиться и сосредоточиться на каком бы то ни было отдельном впечатлении. Когда звуки гитары и песни открыли Нехлюдову смысл всех тайн и загадок мировой жизни, тогда он подошел к тому месту, откуда слышались эти волшебные звуки. Он увидел, что певец поет перед балконом Швейцерагофа; его слушает вся блестящая публика, живущая в этой гостинице, но ни один из слушателей не дает ему ни копейки, когда он по окончании песни снимает шляпу и произносит просительную фразу. Нехлюдов пользуется этим удобным случаем, чтобы немедленно вознегодовать. Я совершенно согласен с тем, что в этом факте действительно нет ничего хорошего, но я решительно не могу себе объяснить, каким образом мужчина зрелых лет может находить подобные факты сколько-нибудь для себя удивительными. Мальчику позволительно кипятился при виде каждого неразумного или бесчестного дела. Для мальчика это кипячение даже необходимо; оно пробуждает его силы и внушает ему желание бороться за то, что он считает разумным и справедливым. Но мальчик заметит очень скоро, что бороться разом против всего, что неразумно и бесчестно, значит—тратить свои силы на ветер. В результате может получиться только крайнее утомление слишком ретивого бойца. Чтобы успеть хоть в чем-нибудь, надо непременно взять себе какую-нибудь отдельную задачу и заняться добросовестно ее разрешением, не кидаясь по сторонам и не хватаясь с безрассудною жадностью за все мелкие проявления зла, которые ежеминутно попадают навстречу каждому цивилизован-

нбмѹ еврѡпейцу. Когда мальчик таким образом окончательно выяснил себе свою отдельную задачу и когда он серьезно принялся за свою специальную работу, тогда мы можем сказать о нем, что он сделался зрелым мужчиною. Этот зрелый мужчина, встречаясь с каким-нибудь проявлением нелепости, говорит самому себе совершенно спокойно: знаю я эту штуку, и корень ее знаю, и работаю я против нее так и так. А негодовать я не намерен, да и разучился я заниматься этим пустым делом. Негодование есть мимолетный взрыв чувства, а я вовсе не намерен тратить мое чувство на пускание таких мыльных пузырей. Мое чувство есть сила, приводящая в движение весь мой организм, и эта сила приложена навсегда к той работе, которую я себе выбрал. Чувство негодующих людей есть то крошечное количество пара, которое, черт знает зачем, поднимает кверху крышку кипящего самовара. А мое чувство есть тот же пар, но только проведенный в такую благоустроенную машину, которая поднимает тяжести и вертит колеса.

Нехлюдов, разумеется, становился навсегда в положении самовара, фыркающего очень громко и совершенно бестолково. Ему сделалось очень досадно, зачем обитатели Швейцергофа не дали денег странствующему певцу. Ну, что ж с ними делать? Ведь под суд их отдать за это нельзя? Значит, надо было только наградить обиженного певца, то-есть заплатить ему разом столько, сколько он мог ожидать от всех своих слушателей. Нарушенная справедливость была бы совершенно восстановлена, но Нехлюдов не может поступить таким образом, потому что это было бы слишком просто. Он догоняет уходящего певца и приглашает его выпить вместе с ним бутылку вина. Что ж? И это не дурно. Но дурно то, что Нехлюдову тотчас приходит в голову устроить, посредством этой выпивки, какую-то демонстрацию

В пику и в назидание жестокосердым и скупым обитателям Швейцергофа. Вот это уж никогда не годится, потому что такая демонстрация вовсе не приятна для певца и не полезна ни для кого на свете. Певец предлагает Нехлюдову войти в простую распивочную лавочку, но Нехлюдов, по своей дурацкой фантазии, тащит смущенного певца в настоящий Швейцергоф. Это значит: пляши по моей дудке, потому что я—русский барин и потому что я тебя хожу, угощаю. Это как нельзя больше напоминает мне Ситникова, который кричит на мужиков: «наденьте шапки, дураки!». Шапки они должны надевать потому, что Ситников—прогрессист; а дураками они оказались потому, что Ситников—барин.—Приходят в Швейцергоф. Их отводят в залу для простого народа, и тут начинается геройская борьба Нехлюдова против аристократизма, воплотившегося на этот вечер в лакеях блестящей гостиницы. Нехлюдову предлагают простого вина, но он, «стараясь принять самый гордый и величественный вид», требует «шампанского и самого лучшего». Подают шампанское, и вместе с шампанским приходят два лакея посмотреть на потешное представление, которое даром разыгрывает наш полоумный соотечественник. «Два из них сели около судомойки и, с веселой внимательностью и кроткой улыбкой на лицах, любовались на нас, как любят родители на милых детей, когда они мило играют». Соотечественник наш чувствует себя смущенным, но утешает себя тою мыслью, что путь добродетели всегда усеян колючими терниями. «Хотя,—говорит он,—мне было и очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело сколь возможно независимо». Это признание доказывает нам, что наши соотечественники тратят за границу на бесполезные подвиги не только свои деньги, но и свою энергию. Враги нашего сооте-

чественника сдвигают свои силы. «Швейцар, не снимая фуражки, вошел в комнату и, облокотившись на стол, сел подле меня. Это последнее обстоятельство, задев мое самолюбие и тщеславие, окончательно взорвало меня и дало исход той давившей злобе, которая весь вечер собиралась во мне... Я совсем озлился той кипящей злобой негодования, которую я люблю в себе (странный вкус!), возбуждаю даже, когда на меня находит (сам сознается, что *на него находит*), потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей». (Насчет *моральных способностей* позволю себе выразить сомнение, потому что, как мы увидим дальше, они совершенно подавляются и помрачаются той *кипящей злобой негодования*, которую он *любит и даже возбуждает в себе*). Вскипевший самовар Нехлюдов тотчас изливает на преступных лакеев потоки глупой, но язвительной речи.— «Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он—гость, а вы—лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом (лакей мог бы на это отвечать: я тогда еще не знал, что вы—такой шут гороховый) и не садились со мной рядом? Оттого, что он бедно одет и поет на улице,—от этого?—а на мне хорошее платье?—Он беден, но в тысячу раз лучше вас, в этом я уверен; потому что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его».—«Да я ничего, что вы,—робко отвечал мой враг-лакей.—Разве я мешаю ему сидеть?»—Лакей не понимал меня, и моя немецкая речь пропадала даром». Последнее предположение Нехлюдова совершенно несправедливо. Судя по ответу лакея, можно утверждать, напротив того, что он превосходно понял и даже разбил наголову нашего свирепого оратора. Ведь в самом деле вся речь Нехлюдова имела бы хоть какой-нибудь смысл

только в том случае, когда бы лакей мешал певцу сидеть. А иначе Нехлюдов попадает в безвыходное противоречие. Ставя уличного певца на-ряду с блестящими гостями Швейцергофа, он уничтожает словные перегородки, а потом он тотчас во имя этих уничтоженных перегородок кричит на лакеев и приказывает им встать. Это еще гораздо глупее ситниковского восклицания: «Наденьте шапки, дураки!».— Кроме того, само собою разумеется, что эта сцена испортила певцу все удовольствие выпивки. Он самым жалобным образом начинает проситься домой, но Нехлюдов только что вошел в настоящий вкус той кипящей злобы негодования, которою он любит угощать самого себя. Он с сильным нахальством тащит бедного певца на новые мытарства. Выпил, дескать, каналья, так утешай барина до самого конца. Соотечественник наш требует, чтобы его вместе с певцом вели в парадную залу. В речи, которую он произносит по этому поводу, есть и политика, и нравственная философия, и поэтические образы, и арифметические соображения. «И отчего вы провели меня с этим господином в эту, а не в ту залу? А?—допрашивал я швейцара, ухватив его за руку с тем, чтоб он не ушел от меня.—Какое вы имели право по виду решать, что этот господин должен быть в этой, а не в той зале? Разве, кто платит, не все равны в гостиницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!... Вот оно равенство. Англичан вы бы не смели провести в эту комнату, тех самых англичан, которые даром слушали этого господина, то-есть украли у него каждый по несколько сантимов, которые должны были дать ему. Как вы смели указать эту залу?»

Если вы представите себе, что вся эта бурда хороших слов была вылита на голову несчастного швейцара, которого держат за руку, чтобы он не ушел,

то вы, вероятно, согласитесь, что может быть никогда еще тип неисправимого фразера или бестолкового идеалиста не являлся перед вами в более смешном и печальном положении.—Не забудьте, что это положение вытекает самым естественным образом из всех, уже известных нам подробностей о воспитании и из прежней деятельности Нехлюдова, не забудьте, что мы, по повестям Толстого, можем проследить шаг за шагом формирование этого страшно-болезненного характера, не забудьте всего этого, говорю я, и тогда только вы убедитесь в том, что повести Толстого действительно заслуживают самого внимательного изучения.—Нехлюдов одерживает победу над лакеями и входит триумфатором в парадную залу. «Зала была действительно отперта, освещена и за одним из столов сидели, ужиная, англичанин с дамой. Несмотря на то, что нам указывали особый стол, я с грязным певцом подсел к самому англичанину и велел сюда подать нам ноеконченную бутылку». Нехлюдов злится на англичан за их чванство и за то, что они ничего не дали певцу. Он хочет им сделать какую-нибудь неприятность и для этого пускает в ход своего певца, как комок грязи, который он кладет чуть-чуть не на тарелку ужинающих англичан. Англичане очень неправы; с их стороны очень непохвально брезгать человеком, потому что этот человек беден. Но Нехлюдов, вступающийся за этого бедного человека, унижает и тиранит его еще гораздо сильнее; вы представьте себе только, каково должно быть положение певца, которого превратили таким образом в пассивное орудие, и притом—в орудие наказания. Его присутствием наказывают других людей; согласитесь, что трудно вообразить себе что-нибудь глупее и мучительнее его роли, и Нехлюдов сам сознается, что бедный певец сидел в парадной зале «ни жив ни мертв» и торопливо допил все, что

оставалось в бутылке, лишь бы только поскорее выбраться вон. А те англичане, которых Нехлюдов хотел наказывать, разумеется, тотчас же ушли из залы, так что вся мучительная неприятность положения обрушилась исключительно на несчастную причину торжества, то-есть на бедного певца, которому Нехлюдов хотел сначала доставить удовольствие.

Ведь есть же в самом деле такие люди, у которых мысль не может ни на минуту остановиться на одном предмете и которые вследствие этих изумительных скачков своей мысли не могут довести до конца самого простого дела. И всего замечательнее в психологическом отношении то обстоятельство, что многие из этих полупомешанных людей, делая поразительные глупости каждый божий день, с раннего утра до поздней ночи, в то же время никак не могут быть названы глупыми людьми. Наделав множество нелепостей, эти господа сами начнут разбирать свое диковинное дело и обнаружат в своем анализе так много наблюдательности, тонкого юмора и беспощадной иронии над своими собственными ошибками, что вы будете вслушиваться в их речи с самым напряженным вниманием и с самым сознательным сочувствием. Тот самый Нехлюдов, который держал швейцара за руку, чтобы пожаловаться на паршивость люцернской республики,—тот самый Нехлюдов, говорю я, через несколько минут после ухода несчастного певца называет свою *кипящую зlobу негодования*—детскою и глупою. Тот самый Нехлюдов описывает весь этот эпизод с неподражаемым оттенком грустного и задумчивого юмора. И тот же самый Нехлюдов на другой день наверное ухитрится сочинить новую нелепость, которая опять заставит его смеяться и грустить над своею собственною изломанною и искривлявшеюся особою.

Глупить и размышлять над сделанными глупостями, размышлять и потом опять глупить—вот все

внутреннее содержание в жизни людей, подобных Нехлюдову. И нет такого сильного ума, который не пришел бы к тому же самому безнадежному положению, если он не воспитает самого себя в строгой школе положительной науки и полезного труда. Все мы знаем давно, что человек—существо слабое, беспомощное и несчастное, пока он своими единичными силами пробует бороться против сил физической и органической природы, то-есть против стихий и против диких животных. И тот же самый человек, соединяя свои силы с силами других людей, подчиняет себе воду и ветер, пар и электричество, мир растений и мир животных. Тот же самый закон, в полном своем объеме, прилагается как нельзя лучше к развитию и совершенствованию отдельного человеческого ума. Ум наш не может развернуться правильно, он не может даже оставаться крепким и здоровым, если мы не будем соединять сил нашего ума с умственными силами других людей. В общечеловеческой науке соединяются все умственные силы всех отживших и всех живущих поколений, и поэтому искать себе умственного развития *вне* науки—значит обрекать свой ум на уродливое, мучительное и неизлечимое бессилие. В этой мысли нет решительно ничего нового, но повторять и даже доказывать ее все еще необходимо. Мы были бы очень умными и очень счастливыми людьми, если бы многие старые истины, обратившиеся уже в пословицы или украшающие собою наши азбуки и прописи, перестали быть для нас мертвыми и избыточными фразами. Слова наши часто бывают очень хорошими словами, но в том-то и горе наше великое, что они навсегда остаются словами и что мы сами уже давно к ним прислушались и, потерявши всякое доверие к пустому звуку, забыли в то же время и основную мысль, вечно живую и вечно плодотворную.

СТАРОЕ БАРСТВО.

(«Война и мир». Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы I, II и III. Москва. 1868 г.)

I.

Новый, еще неоконченный роман графа Л. Толстого можно назвать образцовым произведением по части патологии русского общества. В этом романе целый ряд ярких и разнообразных картин, написанных с самым величественным и невозмутимым эпическим спокойствием, ставит и решает вопрос о том, что делается с человеческими умами и характерами при таких условиях, которые дают людям возможность обходиться без знаний, без мыслей, без энергии и без труда.

Очень может быть, и даже очень вероятно, что граф Толстой не имеет в виду постановки и решения такого вопроса. Очень вероятно, что он просто хочет нарисовать ряд картин из жизни русского барства во времена Александра I. Он видит сам и старается показать другим, отчетливо, до мельчайших подробностей и оттенков, все особенности, характеризующие тогдашнее время и тогдашних людей, людей того круга, который всего более ему интересен или

доступен его изучению. Он старается только быть правдивым и точным; его усилия не клонятся к тому, чтобы поддержать или опровергнуть создаваемыми образами какую бы то ни было теоретическую идею; он по всей вероятности относится к предмету своих продолжительных и тщательных исследований с тою невольною и естественною нежностью, которую обыкновенно чувствует даровитый историк к далекому или близкому прошедшему, воскресающему под его руками; он, быть может, находит даже в особенностях этого прошедшего, в фигурах и характерах выведенных личностей, в понятиях и привычках изображенного общества многие черты, достойные любви и уважения. Все это может быть, все это даже очень вероятно. Но именно оттого, что автор потратил много времени, труда и любви на изучение и изображение эпохи и ее представителей, именно поэтому созданные им образы живут своею собственною жизнью, независимо от намерения автора, вступают сами в непосредственные отношения с читателями, говорят сами за себя и неудержимо ведут читателя к таким мыслям и заключениям, которых автор не имел в виду и которых он, быть может, даже не одобрил бы.

Эта правда, бьющая живым ключом из самих фактов, эта правда, прорывающаяся помимо личных симпатий и убеждений рассказчика, особенно драгоценна по своей неотразимой убедительности. Эту-то правду, это шило, которого нельзя утаить в мешке, мы постараемся теперь извлечь из романа графа Толстого.

Роман «Война и мир» представляет нам целый букет разнообразных и превосходно отделанных характеров, мужских и женских, старых и молодых. Особенно богат выбор молодых мужских характеров. Мы начнем именно с них и начнем снизу, то-есть, с тех фигур, насчет которых разногласие почти не-

возможно и которых неудовлетворительность будет, по всей вероятности, признана всеми читателями.

Первым портретом в нашей картинной галлерее будет князь Борис Друбецкой, молодой человек знатного происхождения, с именем и с связями, но без состояния, прокладывающий себе дорогу к богатству и к почестям своим умением ладить с людьми и пользоваться обстоятельствами. Первое из тех обстоятельств, которыми он пользуется с замечательным искусством и успехом—это его родная мать, княгиня Анна Михайловна. Всякому известно, что мать, просящая за сына, оказывается всегда и везде самым усердным, расторопным, настойчивым, неутомимым и неустрашимым из адвокатов. В ее глазах цель оправдывает и освящает все средства, без малейшего исключения. Она готова просить, плакать, заискивать, подслуживаться, пресмыкаться, надоедать, глотать всевозможные оскорбления, лишь бы только ей хоть с досады, из желания отвязаться от нее и прекратить ее докучливые вопли, бросили, наконец, для сына назойливо требуемую подачку. Борису все эти достоинства матери хорошо известны. Он знает также и то, что все унижения, которым добровольно подвергает себя любящая мать, нисколько не роняют сына, если только этот сын, пользуясь ее услугами, держит себя при этом с достаточною, приличною самостоятельностью.

Борис выбирает себе роль почтительного и послушного сына, как самую выгодную и удобную для себя роль. Выгодна и удобна она, во-первых, потому, что налагает на него обязанность не мешать тем подвигам низкопоклонства, которыми мать кладет основание его блистательной карьере. Во-вторых, она выгодна и удобна тем, что выставляет его в самом лучшем свете в глазах тех сильных людей, от которых зависит его преуспевание. Какой примерный молодой чело-

век!—должны думать и говорить о нем все окружающие.—Сколько в нем благородной гордости, и какие великодушные усилия употребляет он для того, чтобы из любви к матери подавить в себе слишком порывистые движения юной нерасчетливой строптивости, такие движения, которые могли бы огорчить бедную старушку, сосредоточившую на карьере сына все свои помыслы и желания. И как тщательно, и как успешно он скрывает свои великодушные усилия под личиною наружного спокойствия! Как он понимает, что эти усилия самым фактом своего существования могли бы служить тяжелым укором его бедной матери, совершенно ослепленной своими честолюбивыми материнскими мечтами и планами. Какой ум, какой такт, какая сила характера, какое золотое сердце и какая утонченная деликатность!

Когда Анна Михайловна обивает пороги милостивцев и благодетелей, Борис держит себя пассивно и спокойно, как человек, решившийся раз навсегда почтительно и с достоинством покоряться своей тяжелой и горькой участи и покоряться так, чтобы всякий это видел, но чтобы никто не осмеливался сказать ему с теплым сочувствием: «Молодой человек, по вашим глазам, по вашему лицу, по всей вашей удрученной наружности я вижу ясно, что вы терпеливо и мужественно несете тяжелый крест». Он едет с матерью к умирающему богачу Безухову, на которого Анна Михайловна возлагает какие-то надежды, преимущественно потому, что «он так богат, а мы так бедны!». Он едет, но даже самой матери своей дает почувствовать, что делает это исключительно для нее, что сам не предвидит от этой поездки ничего, кроме унижения, и что есть такой предел, за которым ему может изменить его покорность и его искусственное спокойствие. Мистификация ведена так искусно, что сама Анна Михайловна боится своего почтительного сына, как

вулкана, от которого ежеминутно можно ожидать разрушительного извержения; само собою разумеется, что эту боязнь усиливается ее уважение к сыну; она на каждом шагу оглядывается на него, просит его быть ласковым и внимательным, напоминает ему его обещания, прикасается к его руке, чтобы, смотря по обстоятельствам, то успокоивать, то возбуждать его. Тревожась и суетясь таким образом, Анна Михайловна пребывает в той твердой уверенности, что без этих искусных усилий и стараний с ее стороны все пойдет прахом, и непреклонный Борис если не прогневает навсегда сильных людей выходкою благородного негодования, то по крайней мере наверное заморозит ледяною холодностью обращения все сердца покровителей и благодетелей.

Если Борис так удачно мистифицирует родную мать, женщину опытную и неглупую, у которой он вырос на глазах, то разумеется он еще легче и также успешно морочит посторонних людей, с которыми ему приходится иметь дело. Он кланяется благодетелям и покровителям учтиво, но так спокойно и с таким скромным достоинством, что сильные лица сразу чувствуют необходимость посмотреть на него повнимательнее и выделить его из толпы нуждающихся клиентов, за которых просят докучливые маменьки и тетушки. Он отвечает им на их небрежные вопросы точно и ясно, спокойно и почтительно, не выказывая ни досады на их резкий тон ни желанья вступить с ними в дальнейший разговор. Глядя на Бориса и выслушивая его спокойные ответы, покровители и благодетели немедленно проникаются тем убеждением, что Борис, оставаясь в границах строгой вежливости и безукоризненной почтительности, никому не позволит помыкать собою и всегда сумеет постоять за свою дворянскую честь. Являясь просителем и искателем, Борис умеет свалить всю черную работу

Этого дела на мать, которая, разумеется, с величайшею готовностью подставляет свои старые плечи и даже упрашивает сына, чтобы он позволил ей устроить его повышение. Предоставляя матери пресмыкаться перед сильными лицами, Борис сам умеет оставаться чистым и изящным, скромным, но независимым джентльменом. Чистота, изящество, скромность, независимость и джентльменство, разумеется, дают ему такие выгоды, которых не могли бы ему доставить жалобное попрошайничество и низкое угодничество. Ту подачку, которую можно бросить робкому замарашке, едва осмеливающемуся сидеть на кончике стула и стремящемуся поцеловать благодетеля в плечико, до крайности неудобно, конфузно и даже опасно предложить изящному юноше, в котором приличная скромность уживается самым гармоническим образом с неистребимым и вечно-бдительным чувством собственного достоинства. Такой пост, на который совершенно невозможно было бы поставить просто и откровенно пресмыкающегося просителя, в высшей степени приличен для скромно-самостоятельного молодого человека, умеющего во-время поклониться, во-время улыбнуться, во-время сделать серьезное и даже строгое лицо, во-время уступить или переубедиться, во-время обнаружить благородную стойкость, ни на минуту не утрачивая спокойного самообладания и прилично почтительной развязности обращения.

Патроны обыкновенно любят льстецов; им приятно видеть в благоговении окружающих людей невольную дань восторга, приносимую гениальности их ума и несравненному превосходству их нравственных качеств. Но чтобы лесть производила приятное впечатление, она должна быть достаточно тонка, и чем умнее тот человек, которому льстят, тем тоньше должна быть лесть, и чем она тоньше, тем приятнее

она действует. Когда же лесть оказывается настолько грубою, что тот человек, к которому она обращается, может распознать ее неискренность, то она способна произвести на него совершенно обратное действие и серьезно повредить неискреннему льстецу. Возьмем двоих льстецов: один млеет перед своим патроном, во всем с ним соглашается и ясно показывает всеми своими действиями и словами, что у него нет ни собственной воли ни собственного убеждения, что он, похваливши сейчас одно суждение патрона, готов через минуту превознести другое суждение, диаметрально противоположное, лишь бы только оно было высказано тем же патроном; другой, напротив того, умеет показать, что ему, для угождения патрону, нет ни малейшей надобности отказываться от своей умственной и нравственной самостоятельности, что все суждения патрона покоряют себе его ум силою своей собственной неотразимой внутренней убедительности, что он повинуется патрону во всякую данную минуту не с чувством рабского страха и рабской корыстолюбивой угодливости, а с живым и глубоким наслаждением свободного человека, имевшего счастье найти себе мудрого и великодушного руководителя. Понятное дело, что из этих двоих льстецов второй пойдет гораздо дальше первого. Первого будут кормить и презирать; первого будут рядить в шуты; первого не пустят дальше той лакейской роли, которую он на себя принял в близоруком ожидании будущих благ; со вторым, напротив того, будут советоваться; его могут полюбить; к нему могут даже почувствовать уважение; его могут произвести в друзья и наперсники. Великосветский Молчалин, князь Борис Друбецкой идет по этому второму пути и, разумеется, высоко неся свою красивую голову и не марая кончика ногтей какую бы то ни было работою, легко и быстро доберется этим путем до таких известных степеней, до

которых никогда не доползет простой Молчалин, простодушно подличающий и трепещущий перед начальником и смиренно наживающий себе раннюю сутуловатость за канцелярскими бумагами. Борис действует в жизни так, как ловкий и расторопный гимнастик лезет на дерево. Становясь ногою на одну ветку, он уже отыскивает глазами другую, за которую он в следующее мгновение мог бы ухватиться руками; его глаза и все его помыслы направлены кверху; когда рука его нашла себе надежную точку опоры, он уже совершенно забывает о той ветке, на которой он только что сейчас стоял всею тяжестью своего тела и от которой его нога уже начинает отделяться. На всех своих знакомых и на всех тех людей, с которыми он может познакомиться, Борис смотрит именно как на ветки, расположенные одна над другою, в более или менее отдаленном расстоянии от вершины огромного дерева, от той вершины, где искусного гимнастика ожидает желанное успокоение среди роскоши, почестей и атрибутов власти. Борис сразу, пронизательным взглядом даровитого полководца или хорошего шахматного игрока, схватывает взаимные отношения своих знакомых и те пути, которые могут повести его от одного уже сделанного знакомства к другому, еще манящему его к себе, и от этого другого к третьему, еще закутанному в золотистый туман величественной недоступности. Сумевши показаться добродушному Пьеру Безухову *милым, умным и твердым молодым человеком*, сумевши даже смутить и растрогать его своим умом и твердостью в тот самый раз, когда он вместе с матерью приезжал к старому графу Безухову просить на бедность и на гвардейскую обмундировку, Борис добывает себе от этого Пьера рекомендательное письмо к адъютанту Кутузова, князю Андрею Болконскому, а через Болконского знакомится с генерал-

адъютантом Долгоруковым и попадает сам в адъютанты к какому-то важному лицу.

Поставив себя в приятельские отношения с князем Болконским, Борис тотчас осторожно отделяет ногу от той ветки, на которой он держался. Он немедленно начинает исподволь ослаблять свою дружескую связь с товарищем своего детства, молодым графом Ростовым, у которого он жила в доме по целым годам и мать которого только что подарила ему, Борису, на обмундировку пятьсот рублей, принятых княгиней Анною Михайловною со слезами умиления и радостной благодарности. После полугодовой разлуки, после походов и сражений, выдержанных молодым Ростовым, Борис встречается с ним, с другом детства, и в это же первое свидание Ростов замечает, что Борису, к которому в это же время приходит Болконский, как будто совестно вести дружеский разговор с армейским гусаром. Изящного гвардейского офицера Бориса коробит армейский мундир и армейские замашки молодого Ростова, а главное его смущает та мысль, что Болконский составит себе о нем невыгодное мнение, видя его дружескую короткость с человеком дурного тона. В отношениях Бориса к Ростову тотчас обнаруживается легкая натянутость, которая особенно удобна для Бориса именно тем, что к ней невозможно придрасться, что ее невозможно устранить откровенными объяснениями и что ее также очень трудно не заметить и не почувствовать. Благодаря этой тонкой натянутости, благодаря этому едва уловимому диссонансу, чуть-чуть царапающему нервы, человек дурного тона будет потихоньку удален, не имея никакого повода жаловаться, обижаться и вламываться в амбицию, а человек хорошего тона увидит и заметит, что к изящному гвардейскому офицеру, князю Борису Друбецкому, лезут в друзья неделикатные молодые люди, которых он кротко и гра-

циозно умеет отодвигать назад, на их настоящее место.

В походе, на войне, в светских салонах—езде Борис преследует одну и ту же цель, везде он думает исключительно или по крайней мере прежде всего об интересах своей карьеры. Пользуясь с замечательной понятливостью всеми мельчайшими указаниями опыта, Борис скоро превращает в сознательную и систематическую тактику то, что прежде было для него делом инстинкта и счастливого вдохновения. Он составляет безошибочно верную теорию карьеры и действует по этой теории с самым неуклонным постоянством. Познакомившись с князем Болконским и приблизившись через него к высшим сферам военной администрации, Борис «ясно понял то, что он предвидел прежде, именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться в то время, как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда-нибудь Борис решил служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписанной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика».

Основываясь на самых ясных и недвусмысленных указаниях опыта, Борис решает раз навсегда, что служить лицам несравненно выгоднее, чем служить делу, и, как человек, несколько не связанный в своих действиях нерасчетливою любовью к какой бы то ни было идее или к какому бы то ни было делу, он

кладет себе за правило всегда служить только лицам и возлагать всегда все свое упование никак не на свои какие-нибудь собственные действительные достоинства, а только на свои хорошие отношения к влиятельным лицам, умеющим награждать и выводить в люди своих верных и покорных слуг.

В случайно завязавшемся разговоре о службе Ростов говорит Борису, что ни к кому не пойдет в адъютанты, потому что это «лакейская должность». Борис, разумеется, оказывается настолько свободным от предрассудков, что его не смущает резкое и неприятное слово «лакей». Во-первых, он понимает, что *comparaison n'est pas raison* и что между адъютантом и лакеем огромная разница, потому что первого с удовольствием принимают в самых блестящих гостиных, а второго заставляют стоять в передней и держать господские шубы. Во-вторых, понимает он и то, что многим лакеям живется гораздо приятнее, чем иным господам, имеющим полное право считать себя доблестными слугами отечества. В-третьих, он всегда готов сам надеть какую угодно ливрею, если только она быстро и верно поведет его к цели. Это он и высказывает Ростову, говоря ему, в ответ на его выходку об адъютантстве, что «желал бы и очень попасть в адъютанты, затем что, уже раз пойдя по карьере военной службы, надо стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру». Эта откровенность Бориса очень замечательна. Она доказывает ясно, что большинство того общества, в котором он живет и мнением которого он дорожит, совершенно одобряет его взгляды на прокладывание дороги, на служение лицам, на неписанную субординацию и на несомненные удобства ливреи, как средства, ведущего к цели. Борис называет Ростова мечтателем за его выходку против служения лицам, и общество, к которому принадлежит Ростов, без всякого сомнения не только

подтвердило бы, но еще и усилило бы этот приговор в очень значительной степени, так что Ростов за свою попытку отрицать систему протекции и неписанную субординацию оказался бы не мечтателем, а просто глупым и грубым армейским буяном, неспособным понимать и оценивать самые законные и похвальные стремления благовоспитанных и добропорядочных юношей.

Борис, разумеется, продолжает преуспевать под сенью своей непогрешимой теории, вполне соответствующей механизму и духу того общества, среди которого он ищет себе богатства и почета. «Он вполне усвоил себе ту понравившуюся ему в Ольмюце неписанную субординацию, по которой прапорщик мог стоять без сравнения выше генерала и по которой, для успеха на службе, были нужны не усилия на службе, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только уметь обращаться с теми, которые вознаграждают за службу—и он часто удивлялся сам своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого. Вследствие этого открытия его, весь образ жизни его, все отношения с прежними знакомыми, все его планы на будущее—совершенно изменились. Он был небогат, но последние свои деньги он употреблял на то, чтобы быть одетым лучше других; он скорее лишил бы себя многих удовольствий, чем позволил бы себе ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире на улицах Петербурга. Сближался он и искал знакомств только с людьми, которые были выше его и потому могли быть ему полезны».

С особенным чувством гордости и удовольствия Борис входит в дома высшего общества; приглашение от фрейлины Анны Павловны Шерер он принимает за «важное повышение по службе»; на вечере у нее он, конечно, ищет себе не развлечений; он, напротив того,

Трудится по-своему в ее гостиной; он внимательно изучает ту местность, на которой ему предстоит маневрировать, чтобы завоевать себе новые выгоды и заполнить новых благодетелей; он внимательно наблюдает каждое лицо и оценивает выгоды и возможности сближения с каждым из них. Он вступает в это высшее общество с твердым намерением подделаться под него, то-есть укоротить и сузить свой ум настолько, насколько это понадобится, чтобы ничем не выдвигаться из общего уровня и ни под каким видом не раздражить своим превосходством того или другого ограниченного человека, способного быть полезным со стороны неописанной субординации.

На вечере у Анны Павловны, один очень глупый юноша, сын министра князя Курагина, после неоднократных приступов и долгих сборов, производит на свет глупую и избитую шутку. Борис, конечно, настолько умен, что такие шутки должны коробить его и возбуждать в нем то чувство отвращения, которое обыкновенно рождается в здоровом человеке, когда ему приходится видеть или слышать идиота. Борис не может находить эту шутку остроумною или забавною, но, находясь в великосветском салоне, он не осмеливается выдержать эту шутку с серьезною физиономиею, потому что его серьезность может быть принята за молчаливое осуждение каламбура, над которым, быть может, сливкам петербургского общества угодно будет засмеяться. Чтобы смех этих сливок не застал его врасплох, предусмотрительный Борис принимает свои меры в ту самую секунду, когда плоская и чужая острота слетает с губ князя Иполита Курагина. Он осторожно улыбается, так что его улыбка может быть отнесена к насмешке или к одобрению шутки, смотря по тому, как она будет принята. Сливки смеются, признавая в милом остряке плоть от плоти своей и кость от костей своих,—

и меры, заблаговременно принятые Борисом, оказываются для него в высокой степени спасительными.

Глупая красавица, достойная сестра Ипполита Курагина, графиня Элен Безухова, пользующаяся репутациею прелестной и очень умной женщины и привлекающая в свой салон все, что блестит умом, богатством, знатностью или высоким чином—находит для себя удобным приблизить красивого и ловкого адъютанта Бориса к своей особе. Борис приближается с величайшею готовностью, становится ее любовником и в этом обстоятельстве усматривает не без основания новое немаловажное повышение по службе. Если путь к чинам и деньгам проходит через будуар красивой женщины, то, разумеется, для Бориса нет достаточных оснований остановиться в добродетельном недоумении или поворотить в сторону. Ухватившись за руку своей глупой красавицы, Друбецкой весело и быстро продолжает подвигаться вперед к золотой цели.

Он выпрашивает у своего ближайшего начальника позволение состоять в его свите в Тильзите, во время свидания обоих императоров, и дает ему почувствовать при этом случае, как внимательно он, Борис, следит за показаниями политического барометра и как тщательно он соображает все свои мельчайшие слова и действия с намерениями и желаниями высоких особ. То лицо, которое до сих пор было для Бориса генералом Буонапарте, узурпатором и врагом человечества, становится для него императором Наполеоном и великим человеком, с той минуты, как, узнав о предположенном свидании, Борис начинает проситься в Тильзит. Попав в Тильзит, Борис почувствовал, что его положение упрочено. «Его не только знали, но к нему пригляделись и привыкли. Два раза он исполнял поручения к самому государю, так что государь знал его в лицо, и все приближенные не

только не дичились его, как прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было».

На том пути, по которому идет Борис, нет ни остановок ни свертков. Может случиться неожиданная катастрофа, которая вдруг изомнет и изломает всю отлично-начавшуюся и благополучно продолжаемую карьеру; может такая катастрофа застигнуть даже самого осторожного и расчетливого человека; но от нее трудно ожидать, чтобы она направила силы человека к полезному делу и открыла широкий простор для их развития; после такой катастрофы человек обыкновенно оказывается приплюснутым и раздавленным; блестящий, веселый и преуспевающий офицер или чиновник превращается всего чаще в жалкого ипохондрика, в откровенно-низкого попрошайку или просто в горького пьяницу. Помимо же такой неожиданной катастрофы, при ровном и благоприятном течении обыденной жизни, нет никаких шансов, чтобы человек, находящийся в положении Бориса, вдруг оторвался от своей постоянной дипломатической игры, всегда одинаково для него важной и интересной, чтобы он вдруг остановился, оглянулся на самого себя, отдал себе ясный отчет в том, как мельчают и вянут живые силы его ума, и энергическим усилием воли перепрыгнул вдруг с дороги искусного, приличного и блистательно-успешного выпрашивания на совершенно неизвестную ему дорогу неблагодарного, утомительного и совсем не барского труда. Дипломатическая игра имеет такие затягивающие свойства и дает такие блестящие результаты, что человек, погрузившийся в эту игру, скоро начинает считать мелким и ничтожным все, что находится за ее пределами; все события, все явления частной и общественной жизни оцениваются по своему отношению к выигрышу или проигрышу; все люди делятся на средства и на помехи; все чувства собственной души

распадаются на похвальные, то-есть ведущие к выигрышу, и предосудительные, то-есть отвлекающие внимание от процесса игры. В жизни человека, втянувшегося в подобную игру, нет места таким впечатлениям, из которых могло бы развернуться сильное чувство, не подчиненное интересам карьеры. Серьезная, чистая, искренняя любовь, без примеси корыстных или честолюбивых расчетов, любовь со всею светлою глубиною своих наслаждений, любовь со всеми своими торжественными и святыми обязанностями не может укорениться в высушенной душе человека, подобного Борису. Нравственное обновление путем счастливой любви для Бориса невысказимо. Это доказано в романе графа Толстого его историею с Наташею Ростовою, сестрою того армейского гусара, которого мундир и манеры коробят Бориса в присутствии князя Болконского.

Когда Наташе было 12 лет, а Борису лет 17 или 18, они играли между собою в любовь; один раз, незадолго перед отъездом Бориса в полк, Наташа поцеловала его, и они решили, что свадьба их состоится через четыре года, когда Наташе минет 16 лет. Прошли эти четыре года; жених и невеста оба, если не забыли своих взаимных обязательств, то, по крайней мере, стали смотреть на них, как на ребяческую шалость; когда Наташа уже в самом деле могла быть невестою и когда Борис был уже молодым человеком, стоящим, как это говорится, на самой лучшей дороге—они увиделись и снова заинтересовались друг другом. «После первого свидания, Борис сказал себе, что Наташа для него точно так же привлекательна, как и прежде, но что он не должен отдаваться этому чувству, потому что женитьба на ней, девушке почти без состояния, была бы погибелью его карьеры, а возобновление прежних отношений без цели женитьбы—было бы неблагородным поступком».

Несмотря на это благоразумное и спасительное совещание с самим собою, несмотря на решение избегать встреч с Наташей, Борис увлекается, начинает часто ездить к Ростовым, проводит у них целые дни, слушает песни Наташи, пишет ей стихи в альбом и даже перестает бывать у графини Безуховой, от которой он получает ежедневно пригласительные и укорительные записки. Он все собирается объяснить Наташе, что никак и никогда не может сделаться ее мужем, но у него все не хватает сил и мужества на то, чтобы начать и довести до конца такое щекотливое объяснение. Он с каждым днем более и более запутывается. Но некоторая временная и мимолетная невнимательность к великим интересам карьеры составляет крайний предел увлечений, возможных для Бориса. Нанести этим великим интересам скольконибудь серьезный и непоправимый удар—это для него невообразимо, даже под влиянием сильнейшей из доступных ему страстей.

Стоит только старой графине Ростовой перемолвить серьезное слово с Борисом, стоит ей только дать ему почувствовать, что его частые посещения замечены и приняты к сведению—и Борис тотчас, чтобы не компрометировать девушку и не портить карьеру, обращается в благоразумное и благородное бегство. Он перестает бывать у Ростовых и даже, встретившись с ними на бале, проходит мимо них два раза и всякий раз отвертывается.

Проплыв благополучно между подводными камнями любви, Борис уже безостановочно, на всех парусах летит к надежной пристани. Его положение на службе, его связи и знакомства доставляют ему вход в такие дома, где водятся очень богатые невесты. Он начинает думать, что ему пора заручиться выгодною женитьбою. Его молодость, его красивая наружность, его презентабельный мундир, его умно и рас-

Четливо веденная карьера составляют такой товар, который можно продать за очень хорошую цену. Борис высматривает покупательницу и находит ее в Москве.

Жюли Карагина, обладательница огромных пензенских имений и нижегородских лесов, двадцатисемилетняя девушка с красным лицом, с влажными глазами и с подбородком, почти всегда обсыпанным пудрою—покупает себе Бориса. Перед совершением запродажной сделки Борис ведет себя, как чисто-плотный кот, которому голод велит перебираться через очень грязную улицу и которому в то же время до смерти не хочется замочить и запачкать бархатные лапки.

Бориса, как того же чистоплотного кота, не смущают никакие нравственные соображения. Обмануть девушку, прикинувшись влюбленным в нее, взять на себя обязательство составить ее счастье и потом оказаться перед нею позорно-несостоятельным, разбить ее жизнь—все это такие мысли, которые не приходят в голову Борису и нимало его не озабочивают. Если бы только это—он не задумался бы ни на минуту, так точно, как не задумался бы чистоплотный кот стащить и съесть плохо-прибранный кусок мяса. Голос нравственного чувства, уже достаточно слабый в 17-летнем мальчике, благодаря урокам такой искусной матери, какова была княгиня Анна Михайловна—замолчал давно в молодом человеке, создавшем себе целую стройную теорию неписанной субординации. Но в Борисе еще не умерла последняя человеческая слабость; его старческая мудрость еще не задавила в нем способности чувствовать физическое отвращение; его тело еще молодо, свежо и сильно; у этого тела есть свои потребности, свои влечения, свои симпатии и антипатии; это тело не может всегда и везде быть послушным и безропотным орудием духа,

стремящегося к упроченному положению в высшем обществе; тело возмущается, тело бунтует, и мороз подирает Бориса по коже при мысли о той цене, которую он должен будет заплатить за пензенские имения и нижегородские леса. Пройти через будуар графини Безуховой, пройти через него по расчету для Бориса было легко и приятно, потому что и сам Наполеон, увидав графиню Безухову в ложе эрфуртского театра, сказал о ней: «*c'est un superbe animal!*» Но чтобы пройти через спальню Жюли Карагиной к той конторке, в которую кладутся доходы с пензенских имений, Борису понадобилось выдержать упорную и продолжительную борьбу с мятежным телом.

«Жюли уже давно ожидала предложения от своего меланхолического обожателя и готова была принять его; но какое-то тайное чувство отвращения к ней, к ее страстному желанию выйти замуж, к ее ненатуральности, и чувство ужаса перед отречением от возможности настоящей любви еще останавливало Бориса... Каждый день, рассуждая сам с собою, Борис говорил себе, что он завтра сделает предложение. Но в присутствии Жюли, глядя на ее красное лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее влажные глаза и на выражение лица, выражавшего всегдашнюю готовность из меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супружеского счастья, Борис не мог произнести решительного слова, несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распределял употребление в них доходов».

Само собою разумеется, что Борис выходит победителем из этой мучительной борьбы, так же точно, как вышел победителем из другой борьбы с тем же прихотливым телом, тянувшим его к Наташе Ростовой. Обе победы порадовали материнское сердце Анны Михайловны; обе были бы без сомнения решительно

одобрены приговором общественного мнения, всегда расположенного сочувствовать торжеству духа над материею.

В ту минуту, когда Борис, вспыхнув ярким румянцем и платя этим румянцем последнюю дань своей молодости и человеческой слабости, делает предложение Жюли Карагиной и объясняется ей в любви, он утешает и подкрепляет себя тем размышлением, что «всегда может устроить так, чтобы редко видеть ее».

Борис держится того правила, что в торговом деле поступают начистоту только безнадежно-глупые люди и что ловкий обман составляет душу коммерческой операции. И в самом деле, если бы, продав самого себя, он вздумал выдать покупателю весь проданный товар, то какое же удовольствие и какую пользу доставила бы ему устроенная сделка?

II.

Займемся теперь молодым армейским гусаром Николаем Ростовым.

Это совершенная противоположность Бориса. Друбецкой—расчетлив, сдержан, осторожен, все измеряет и взвешивает и во всем действует по заранее составленному и тщательно обдуманному плану. Ростов, напротив того, смел и пылок, неспособен и не любит соображать, всегда поступает очертя голову, всегда весь отдается первому влечению и даже чувствует некоторое презрение к тем людям, которые умеют сопротивляться воспринимаемым впечатлениям и перерабатывать их в себе.

Борис, без всякого сомнения, умнее и глубже Ростова. Ростов, в свою очередь, гораздо даровитее, отзывчивее и многостороннее Бориса. В Борисе гораздо больше способности внимательно наблюдать и осторожно обобщать окружающие факты. В Ростове

преобладает способность откликаться всем своим существом на все, что просит, и даже на то, что не имеет права просить у сердца ответа. Борис, при правильном развитии своих способностей, мог бы сделаться хорошим исследователем. Ростов, при таком же правильном развитии, сделался бы по всей вероятности недюжинным художником, поэтом, музыкантом или живописцем.

Существенное различие между обоими молодыми людьми обозначается с первого их шага на житейском поприще. Борис, которому нечем жить, протискивается по милости своей пресмыкающейся матери в гвардию и живет там на чужой счет, чтобы только быть на виду и почаще приходиться в соприкосновение с высоко-поставленными особами. Ростов, получающий от отца по 10.000 рублей в год и имеющий полную возможность жить в гвардии не хуже других офицеров, идет, пылая воинственным и патриотическим жаром, в армейскую кавалерию, чтобы поскорее побывать в деле, погарцовать на ретивой лошади и удивить себя и других подвигами лихого наездничества. Борис ищет прочной и осязательной выгоды. Ростов желает прежде всего и во что бы то ни стало шуму, блеску, сильных ощущений, эффектных сцен и ярких картин. Образ гусара, как он летит в атаку, машет саблей, сверкает очами, топчет трепещущего врага стальными копытами неукротимого коня, образ гусара, как он размашисто и шумно пирует в кругу лихих товарищей, прокопченных пороховым дымом, образ гусара, как он, закручивая длинные усы, звеня шпорами, блистая золотыми шнурками венгерки, своим орлиным взором посеивает тревогу и смятение в сердцах молодых красавиц—все эти образы, сливаясь в одно смутно-обаятельное впечатление, решают судьбу юного и пылкого графа Ростова и побуждают его, бросив университет, в котором он, без сомнения, находил

мало для себя привлекательного, кинуться стремглав и окунуться с головою в жизнь армейского гусара.

Борис вступает в свой полк спокойно и хладнокровно, держит себя со всеми прилично и кротко, но ни с полком вообще ни с кем-либо из офицеров в особенности не завязывает никаких тесных и душевных отношений. Ростов буквально бросается в объятия Павлоградского гусарского полка, пристращается к нему, как к своей новой семье, сразу начинает дорожить его честью, как своею собственною, из восторженной любви к этой чести делает опрометчивые поступки, ставит себя в неловкие положения, ссорится с полковым командиром, кается в своей неосторожности перед синклитом старых офицеров и при всей своей юношеской обидчивости и вспыльчивости покорно выслушивает дружеские замечания стариков, обучающих его уму-разуму и преподающих ему основные начала павлоградской гусарской нравственности.

Борис норовит улизнуть как можно скорее из полка куда-нибудь в адъютанты. Ростов считает переход в адъютанты какою-то изменою милому и родному Павлоградскому полку. Для него это почти все равно, что бросить любимую женщину, чтобы по расчету жениться на богатой невесте. Все адъютанты, все «штабные молодчики», как он их презрительно называет, в его глазах какие-то бездушные и недостойные отступники, продавшие своих братьев по оружию за блюдо чечевицы. Под влиянием этого презрения он безо всякой уважительной причины, к ужасу и досаде Бориса, в квартире последнего заводит ссору с адъютантом Болконским, ссору, которая остается без кровопролитных последствий, только благодаря спокойной твердости и самообладанию Болконского.

Ростов, к удивлению Бориса, бросает под стол рекомендательное письмо, выхлопотанное ему, Ро-

стову, заботливыми родителями к князю Багратиону; при этом он, как мы уже знаем, прямо называет адъютантскую службу лакейскою. Он не задумывается над тем обстоятельством, что адъютанты совершенно необходимы в общем строе военного дела; он не останавливается на том соображении, что можно быть адъютантом, честно исполняя свои обязанности, принося постоянно истинную пользу общему ходу военных действий и нисколько не унижая ни перед кем своего личного человеческого достоинства. Он, очевидно, не в состоянии уловить и определить различие между писаною и неписаною субординациею, между служением лицам и служением делу. Он с негодованием отрицает адъютантство для себя и презирает его в других просто потому, что павлоградские офицеры, принимая в соображение его графский титул и хорошее состояние, на первых порах заподозрили его в намерении выпрыгнуть из полка в адъютанты, а он тотчас же с добродетельным ужасом стал открещиваться и отплевываться от такого оскорбительного подозрения в бессердечности.

Борис не становится ни к кому в восторженно-подобострастные ученические отношения; он всегда готов тонко и прилично льстить тому человеку, из которого он так или иначе надеется сделать себе дойную корову; он всегда готов подметить в другом, перенять и усвоить себе какую-нибудь сноровку, способную доставить ему успех в обществе и повышение по службе; но бескорыстное и простодушное обожание кого бы или чего бы то ни было ему совершенно несвойственно; он может стремиться только к выгодам, а никак не к идеалу; он может только завидовать и подражать людям, обогнавшим или обгоняющим его по службе, но решительно неспособен благоговеть перед ними, как перед яркими и прекрасными воплощениями идеала. У Ростова, напро-

тив того, идеалы, кумиры и авторитеты, как грибы, на каждом шагу вырастают из земли. У него и Васька Денисов—идеал, и Долохов—кумир, и штаб-ротмистр Кирстен—авторитет. Веровать и любить слепо, страстно, беспредельно, преследуя ненавистью фанатика тех, кто не преклоняет колен перед воздвигнутыми идолами,—это неистребимая потребность его кипучей природы.

Эта потребность проявляется особенно ярко в восторженном взгляде на государя. Вот какими чертами граф Толстой изображает его чувства во время высочайшего смотра в Ольмюце. Эти черты характеризуют и время и тот слой общества, к которому принадлежит Ростов, и личные особенности самого Ростова.

«Когда государь приблизился на расстояние 20-ти шагов и Николя ясно, до всех подробностей, рассмотрел прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, он испытал чувство нежности и восторга, подобного которому он еще не испытывал».

Увидав улыбку государя, «Ростов сам невольно начал улыбаться и почувствовал еще сильнейший прилив любви к своему государю. Ему хотелось выказать чем-нибудь свою любовь к государю. Он знал, что это невозможно, и ему хотелось плакать».

Когда государь заговорил с командиром Павлоградского полка, Ростов подумал, что умер бы от счастья, ежели бы государь обратился к нему.

Когда государь стал благодарить офицеров, то «каждое слово слышалось Ростову, как звук с неба», и он сознал в себе и сформулировал совершенно ясно страстное желание «только умереть, умереть за него».

Когда солдаты, «надсаживая свои гусарские груди», закричали ура, то «Ростов закричал тоже, пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повре-

дить себе этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг государю».

Когда государь постоял несколько секунд против гусар, как будто в нерешимости, то «даже и эта нерешительность показалась Ростову величественной и обворожительной».

В числе господ свиты Ростов заметил Болконского, припомнил свою ссору с ним у Друбецкого, случившуюся накануне, и задал себе вопрос: следует или не следует вызывать его. «Разумеется, не следует, подумал теперь Ростов... И стоит ли думать и говорить про это в такую минуту, как теперь? В минуту такого чувства любви, восторга и самоотвержения, что значат все наши ссоры и обиды? Я всех люблю, всем прощаю теперь».

Когда полки проходят церемониальным маршем мимо государя, когда Ростов на своем Бедуине самым эффектным образом проезжает вслед за своим эскадроном, и когда государь говорит: «Молодцы павлоградцы!» тогда Ростов думает: «Боже мой, как бы я счастлив был, если бы он велел мне сейчас броситься в огонь».

Все эти черты собраны мною и перенесены сюда с точностью с страниц 70—73 первого тома.

Три дня спустя Ростов еще раз видит государя и чувствует себя счастливым, «как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания». Он, *не оглядываясь, восторженным чутьем* чувствует приближение государя. Здесь краски, употребляемые графом Толстым, вспыхивают такую ослепительную яркостью, что я, боясь ослабить или как-нибудь испортить то впечатление, которое они должны произвести на читателя, считаю необходимым привести цитату во всей ее неприкосновенности.

«И он чувствовал это (приближение) не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады,

но он чувствовал это по тому, что по мере приближения все светлее, радостнее и значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Всё ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос—этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос.

Фанатики - жрецы обыкновенно бывают более исключительны в своих страстях, чем то божество, которому они служат. Пылая всепоглощающею и ослепляющею любовью к своему божеству, эти жрецы доходят часто, путем этой любви, до таких крайних, уродливых и противоестественных чувств, которые могли бы только оскорбить, возмутить и прогневить божество, если бы оно узнало о их существовании.

Ростов видит государя на площади городка Вишау, где за несколько минут до приезда государя происходила довольно сильная перестрелка. На площади лежат еще неприбранные тела убитых и раненых. Государь, «склонившись набок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза», смотрит на раненого солдата, лежащего ничком, без кивера, с окровавленной головою. Государь, очевидно, соболезнует о страданиях раненого; плечи его содрогаются, как бы от пробежавшего мороза, и левая нога его судорожно бьет шпорой бок лошади; один из адъютантов, угадывая мысли и желания государя, поднимает солдата под руки, а государь, услышав стон умирающего, говорит: «Тише, тише, разве нельзя тише?» и при этом, по словам графа Толстого, видимо страдает больше, чем сам умирающий солдат. Слезы наполняют глаза государя и, обращаясь к Чарторижскому, он говорит ему: «*quelle terrible chose que la guerre!*» В это самое время Ростов, весь поглощенный своей восторженной любовью, преимущественно устремляет

свое внимание на то обстоятельство, что солдат недостаточно опрятен, деликатен и великолепен, чтобы находиться вблизи государя и останавливать на себе его взоры. В солдате Ростов видит в эту минуту не умирающего человека, не мученика, мужественно принявшего страдание также за дело государя, а только грязное, кровавое пятно, марающее ту картину, на которую обращены глаза государя, пятно, доставляющее государю неприятные ощущения, диссонанс, способный до некоторой степени расстроить нервы государя, наконец, такой предмет, который виноват уже тем, что не может почувствовать *восторженным чутьем его приближение* и сделаться по мере этого приближения *все светлее, и радостнее, и значительнее, и праздничнее*. Вот подлинные слова графа Толстого: «Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю». Государь, по всей вероятности, не остался бы доволен, если бы мог себе представить, что любовь к нему побуждает молодых офицеров его верной и храброй армии смотреть с отвращением и почти с ненавистью на страдания умирающих солдат.

Борис тоже чувствует особенное волнение, когда приближается к особе государя, но его волнение совершенно не похоже на то, которое испытывает простодушный Ростов. Он волнуется потому, что чувствует себя возле источника власти, наград, почестей, богатства и вообще всех тех земных благ, добытию которых он твердо решил посвятить всю свою жизнь. Он думает: ах, если бы мне да пристроиться тут поблизости, да утвердиться так, чтобы меня изо дня в день постоянно пригревали солнечные лучи! То корыстное волнение, которое в подобных случаях овладевает Борисом, только усиливает его внимательность, расторопность и находчивость. Он исполняет совершенно удовлетворительно два пору-

чения к государю, данные ему во время службы, и приобретает себе даже в глазах императора Александра репутацию смышленного и рачительного офицера.

Волнение, овладевающее Ростовым, когда он видит государя и приближается к нему, отнимает у него способность размышлять и обсуживать свое положение. В день аустерлицкого сражения, посланный с поручением, которое он если не обязан, то по крайней мере имеет полное право и даже уполномочен передать государю, Ростов встречает государя в то время, когда битва окончательно и безвозвратно проиграна. Увидав государя, Ростов по обыкновению чувствует себя безмерно счастливым, отчасти потому, что видит его, отчасти и главным образом потому, что убеждается собственными глазами в неверности распространившегося слуха о ране государя. Ростов знает, что он может и даже должен прямо обратиться к государю и передать то, что ему было приказано. Но нахлынувшее на него волнение отнимает у него возможность во-время решиться; «как влюбленный юноша дрожит и млеет, не смея сказать того, о чем он мечтает ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности бегства, когда наступила желанная минута и он стоит наедине с ней: так и Ростов теперь, достигнув того, чего он желал больше всего на свете, не знал, как подступить к государю, и ему представлялись тысячи соображений, почему это было неудобно, неприлично и невозможно».

Не решившись на то, *чего он желал больше всего на свете*, Ростов отъезжает прочь, *с грустью и с отчаянием в сердце*, и в ту же минуту видит, что другой офицер, увидав государя, прямо подъезжает к нему, предлагает ему свои услуги и помогает ему перейти пешком через канаву. Ростов издали с завистью и раскаянием видит, как этот офицер долго и с жаром

говорит что-то государю, и как государь жмет руку этому офицеру. Теперь, когда минута пропущена, Ростову представляются новые тысячи соображений, почему ему было удобно, прилично и необходимо подъехать к государю. Он думает про себя, что он, Ростов, мог бы быть на месте того офицера, которому государь пожал руку, что его подрезала его собственная позорная слабость и что он потерял единственный случай выразить государю свою восторженную преданность. Он повертывает лошадь, скачет к тому месту, где был государь—там уже нет никого. Он уезжает в совершенном отчаянии, и в этом отчаянии—какому бы тонкому и тщательному анализу мы его ни подвергали—нет ничего сколько-нибудь похожего на мысль о том влиянии, которое разговор с государем мог бы обнаружить на дальнейший ход его службы. Это—простодушное и бескорыстное отчаяние влюбленного юноши, у которого, по милости его же собственной робости, остались тяжелым камнем на душе невысказанные и давно накипевшие слова почтительной страсти.

Сам Ростов неспособен анализировать свое чувство; он не может задать себе вопрос: почему я испытываю это чувство? не может, во-первых, потому, что вообще не привык пускаться в психологические исследования и отдавать себе сколько-нибудь ясный отчет в своих ощущениях; а во-вторых, потому, что в этом вопросе ему совершенно справедливо чувствуется опасный зародыш разлагающего сомнения. Спросить: почему я испытываю то или другое чувство? значит задуматься над теми причинами и основаниями, на которых держится это чувство, приступить к измерению, взвешиванию и оценке этих причин и оснований, и заранее подчиниться тому приговору, который, после зрелых размышлений, будет произнесен над ними голосом нашего собственного рассудка. Кто

ставит себе вопрос: почему? тот, очевидно, чувствует необходимость указать своей страсти известные границы, на которых она должна остановиться, чтобы не вредить интересам целого. Кто ставит вопрос: почему? тот уже признает существование таких интересов, которые для него важнее и дороже его чувства и во имя которых и с точки зрения которых желательно потребовать у этого чувства отчета в его происхождении. Кто ставит вопрос: почему? тот уже обнаруживает способность до некоторой степени отрешаться от своего чувства и смотреть на него со стороны, как на явление внешнего мира, а между чувствами, совершенно не испытанными над собою этой операцией, и чувствами, на которые мы хоть раз, хоть на минуту, взглянули со стороны, взором наблюдателя, *объективным оком*, существует огромная разница. Как бы победоносно наше чувство ни выдержало испытание, все-таки над ним неизбежно совершится одна существенно важная перемена: прежде оно, неизмеренное и неисследованное, казалось нам необъятным и беспредельным, потому что мы не знали ни его начала, ни его конца, ни его возможных последствий, ни его действительных оснований; теперь же оно, хотя и очень велико, однако введено в свои границы, которые нам хорошо известны. Прежде оно, само по себе, было целым миром, ни с чем несвязанным, живущим своею самостоятельной жизнью, повинующимся только своим собственным законам, которых мы не знали, и неотразимо увлекающим нас в свою таинственную глубину, в которую мы погружались с трепетом мучительной радости и робкого благоговения; теперь оно сделалось явлением среди других явлений нашего внутреннего мира, явлением, на которое действуют многие другие, соприкасающиеся и сталкивающиеся с ним чувства, мысли и впечатления—явлением, которое подчиняется

законам, существующим вне его, и влияниям, действующим на него со стороны.

Очень многие и очень сильные чувства совсем не выдерживают испытания. Вопрос *почему* становится их могилою. Удовлетворительный ответ на этот вопрос оказывается невозможным.

Ростов не спрашивает *почему?* не знает почему и не хочет этого знать. Он понимает правильным инстинктом, что вся сила его чувства заключается в его совершенной непосредственности и что самым твердым оплотом служит этому чувству то постоянно-раскаленное настроение, вследствие которого он, Ростов, всегда готов видеть оскорбление святыни во всякой попытке, своей или чужой, стать к этому чувству или к каким бы то ни было его проявлениям в сколько-нибудь спокойные или рассудочные отношения.

«Я,—говорил Людовик Святой,—никогда и ни за что не буду рассуждать с еретиком; я просто пойду на него и мечом распорю ему брюхо». Так точно думает и чувствует Ростов. Он до последней крайности щекотлив ко всему, что сколько-нибудь отклоняется от тона восторженного благоговения. Вот какая сцена разыгрывается возле Вишау между Ростовым и Денисовым:

«Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.

— Вот, на походе не в кого влюбиться, так он в Ца'я влюбился,—сказал он.

— Денисов, ты этим не шути,—крикнул Ростов,—это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое...

— Ве'ю, ве'ю, д'ужок, и 'азделяю, и одоб'яю.

— Нет, не понимаешь!

И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастье умереть, не

спасая жизнь (об этом он не смел и мечтать), а просто умереть на глазах государя».

На Денисова, конечно, не может пасть подозрение в якобинстве. В этом отношении он стоит выше всякого сомнения, и Ростов это знает, но, по своей щекотливости, не может воздержаться от вскрикивания, когда Денисов позволяет себе добродушную дружескую шутку. В этой шутке Ростову чувствуется все-таки способность отнестись, хоть на минуту, спокойно и хладнокровно к предмету его восторженного обожания. Этого уже достаточно, чтобы вызвать с его стороны вспышку негодования. Поставьте на место лихого павлоградского гусара и отличного товарища Денисова какого-нибудь постороннего человека, замените добродушную дружескую шутку словами, выражающими серьезное сомнение, и вы тогда, конечно, получите в результате со стороны Ростова не вскрикивание, а какой-нибудь резкий, насильственный поступок, напоминающий программу Людовика Святого.

Проходит два года. Вторая война с Наполеоном заканчивается поражением наших войск при Фриланде и свиданием императоров в Тильзите. Множество виденных событий, политических и неполитических, множество воспринятых впечатлений, крупных и мелких, задают уму Ростова мучительную работу, превышающую его силы, и возбуждают в нем рой тяжелых сомнений, с которыми он не умеет управиться.

Приехав в свой полк весною 1807 года, Ростов застает его в таком положении, что лошади, безобразно худые, едят соломенные крыши с домов, а люди, не получая никакого провианта, набивают себе желудки каким-то сладким Машкиным корнем, растением, похожим на спаржу, от которого у них пухнут руки, ноги и лицо. В столкновениях с неприятелем

Павлоградский полк потерял только двух раненых, а голод и болезни истребили почти половину людей. Кто попадал в госпиталь—умирал наверное; и солдаты, больные лихорадкой и опухолью, несли службу, через силу волоча ноги во фронте, лишь бы только не итти в больницу на верную и мучительную смерть.

В обществе офицеров господствует то убеждение, что все эти бедствия происходят от колоссальных злоупотреблений в провиантском ведомстве; и это убеждение поддерживается тем обстоятельством, что все подвозимые припасы оказываются самого дурного качества. Ужасное и отвратительное положение госпиталей и беспорядок в подвозе провианта также не могут быть объяснены никакими естественными бедствиями, независимыми от воли человека.

Васька Денисов, добродушный, честный и храбрый гусарский майор, любит свой эскадрон, как свою семью, и видит с ожесточением, как на его глазах хиреют и мрут его солдаты. Прослышав о том, что в пехотный полк, стоящий по соседству, идет транспорт провианта, Денисов едет насильно отбивать эти припасы, и действительно выполняет свое намерение, рассуждая так, что не умирать же, в самом деле, павлоградским гусарам от голода и от сладкого Машкина корня. Полковой командир, узнав об этом подвиге Денисова, говорит ему, что готов смотреть на это сквозь пальцы, но советует Денисову съездить в штаб и уладить дело в провиантском ведомстве.

Денисов едет и начинает объясняться с провиантским чиновником, которого он потом, в разговоре с Ростовым, называет обер-вором. С первых же слов Денисов говорит обер-вору, что «разбой не тот делает, кто берет провиант, чтоб кормить своих солдат, а тот, кто берет его, чтоб класть в карман». После такого дебюта полюбовное окончание дела становится невозможным. По приглашению обер-вора, Денисов

идет расписываться у комиссионера, и тут, за столом, видит уже настоящего вора, бывшего павлоградского офицера Телянина, укравшего у него, Денисова, кошелек с деньгами, уличенного в этом Ростовым, выключенного из полка и пристроившегося потом к провиантскому ведомству. Тут разыгрывается сцена, которую сам Денисов следующим образом описывает Ростову:

«Как, ты нас с голоду моришь?!» Раз, раз по морде, ловко так пришлось... «А... распро-такой-сякой», и... начал катать.—Зато натешился, могу сказать, кричал Денисов, радостно и злобно из-под черных усов оскаливая свои белые зубы.—Я бы убил его, кабы не отняли».

Разумеется, завязывается дело. Майора Денисова обвиняют в том, что он, отбив транспорт, без всякого вызова, в пьяном виде явился к обер-провиант-мейстеру, назвал его вором, угрожал побоями, и когда был выведен вон, то бросился в канцелярию, избил двух чиновников и одному вывихнул руку.

Пока тянется предварительная переписка по этому делу, Денисов в одной рекогносцировке получает рану и уезжает в госпиталь.

После Фридландского сражения, во время перемирия, Ростов едет проведать Денисова, и собственными глазами видит, какой уход достается на долю раненым героям. При самом входе доктор предупреждает его, что *тут дом прокаженных, тиф; кто ни взойдет—смерть* и что здоровому человеку не следует входить, если он не желает тут и остаться. В темном коридоре Ростова охватывает такой сильный и отвратительный больничный запах, что он принужден остановиться и собраться с силами, чтобы итти дальше. Ростов входит в солдатские палаты и видит, что тут больные и раненые лежат в два ряда, головами к стенам, на соломе или на собственных

шинелях, без кроватей. Один больной казак лежит навзничь, поперек прохода, раскинув руки и ноги, закатив глаза и повторяя хриплым голосом: «испить—пить—испить!» Его никто не поднимает, ему никто не дает глотка воды, и больничный служитель, которому Ростов приказывает помочь больному, только старательно выкатывает глаза и с удовольствием говорит: «слушаю, ваше высокоблагородие», но не трогается с места. В другом углу Ростов видит рядом со старым безногим солдатом молодого мертвеца и узнает от безногого старика, что его сосед «еще утром кончился» и что его, несмотря на усиленные и неоднократные просьбы больных, до сих пор не убирают.

Денисов сначала горячо толкует о том, что он выводит на чистую воду казнокрадов и разбойников, и читает в продолжение часа слишком Ростову свои ядовитые бумаги, писанные в ответ на запросы военно-судной комиссии, но потом убеждается, что *плетью обуха не перешибешь*, и вручает Ростову большой конверт с просьбою о помиловании на имя государя.

Ростов едет в Тильзит, находит случай передать государю просьбу Денисова через одного кавалерийского генерала и слышит собственными ушами, как государь отвечает громко:

— Не могу, генерал, и потому не могу, что закон сильнее меня.

В Тильзите Ростов видит радостные лица, блестящие мундиры, сияющие улыбки, светлые картины мира, изобилия и роскоши—самую резкую противоположность всего того, что он видел в землянках Павлоградского полка и на полях сражения, и в том доме прокаженных, в котором изнывает раненый подсудимый Денисов.

Эта противоположность смущает его, нагоняет к нему в голову вихри непрощенных мыслей и подни-

мает в душе его тучи небывалых сомнений. Борис сразу, без малейшей борьбы, признал генерала Буонапарте императором Наполеоном и великим человеком и даже постарался устроить так, чтобы его готовность и старательность по этой части была замечена начальством и вменена ему в достоинство. Борис так же охотно и с такою же приятною улыбкою признал бы уличенного вора Телянина за честнейшего человека и за доблестнейшего патриота, ежели бы такое признание могло понравиться начальству. Борис, безо всякого сомнения, не позволил бы себе разбойничьего нападения на свои же русские транспорты, чтобы доставить обед и ужин голодным солдатам своей роты. Борис, конечно, не произвел бы дикого насилия над особою русского чиновника, какими бы двусмысленными поступками ни было наполнено прошедшее этого чиновника. Борис, разумеется, охотнее протянул бы руку Телянину, которого начальство признает честным гражданином, чем Денисову, которого военный суд будет принужден наказать, как грабителя и буяна.

Если бы Ростов был способен усвоить себе беззастенчивую и неустрашимую гибкость Бориса, если бы он раз навсегда отодвинул в сторону желание любить то, чему он служит, и служить тому, что он любит, — то, конечно, тильзитские сцены своим блеском произвели бы на него самое приятное впечатление, госпитальные миазмы заставили бы его только покрепче зажимать себе нос, а денисовское дело навело бы его на поучительные размышления о том, как вредно бывает для человека неумение обуздывать свои страсти. Он не стал бы смущаться контрастами и противоречиями; довольствуясь тою истиною, что существующее существует и что для успешного прохождения служебного поприща надо изучать требования действительности и приноравливаться к ним, он не стал

бы действительно желать, чтобы все существующее было в самом себе стройно, разумно и прекрасно.

Но Ростов не видит и не понимает, за какие заслуги генерал Буонапарте произведен в императоры Наполеоны; он не видит и не понимает, почему он, Ростов, сегодня должен любезничать с теми французами, которых он вчера должен был рубить саблей; почему Денисов за свою любовь к солдатам, которых он обязан был беречь и лелеять, и за свою ненависть к ворам, которых ему никто не приказывал любить, должен быть расстрелян, или по меньшей мере разжалован в солдаты; почему люди, храбро сражавшиеся и честно исполнявшие свой долг, должны под присмотром фельдшеров и военных медиков умирать медленною смертью в домах прокаженных, в которые опасно входить здоровому человеку; почему негодяи, подобные исключенному офицеру Телянину, должны иметь обширное и деятельное влияние на судьбу русской армии.

Опытный человек на месте Ростова успокоился бы на том соображении, что абсолютное совершенство недостижимо, что человеческие силы ограничены и что ошибки и внутренние противоречия составляют неизбежный удел всех людских начинаний. Но опытность приобретается ценою разочарований, а первое разочарование, первое жестокое столкновение блестящих ребяческих иллюзий с грубыми и неопрятными фактами действительной жизни составляет обыкновенно решительный поворотный пункт в истории того человека, который его испытывает.

После этого первого столкновения, цельные верования детства в легкое, неизбежное и всегдашнее торжество добра и правды, верования, вытекающие из незнания зла и лжи,—оказываются разбитыми; человек видит себя среди колеблющихся развалин; он старается прицепиться к осколкам того здания, в ко-

тором он надеялся благополучно провести всю свою жизнь; он ищет в груди разрушенных иллюзий хоть чего-нибудь крепкого и прочного; он пытается построить себе из уцелевших обломков новое здание, поскромнее, но зато и понадежнее первого; эта попытка ведет за собою неудачу и порождает новое разочарование. Развалины разлагаются на свои составные части; обломки крошатся на мелкие кусочки и превращаются в тонкую пыль под руками человека, добросовестно старающегося удержать их в целости. Идя от разочарования к разочарованиям, человек приходит, наконец, к тому убеждению, что все его мысли и чувства, напущенные в него неизвестно когда и выросшие вместе с ним, нуждаются в самой тщательной и строгой проверке. Это убеждение становится исходною точкою того процесса развития, который может привести человека к более или менее ясному и отчетливому пониманию всего окружающего.

Мужественно выдержать первое разочарование способен не всякий. К числу этих неспособных принадлежит и наш Ростов. Вместо того, чтобы взглянуть в те факты, которые опрокидывают его младенческие иллюзии, он с трусливым упорством и с малодушным ожесточением зажмуривает глаза и гонит прочь свои мысли, как только они начинают принимать чересчур непривычное для него направление. Ростов не только зажмуривается сам, но также с фанатическим усердием старается зажимать глаза другим.

Потерпев неудачу по денисовскому делу и насмотревшись на тильзитский блеск, коловший ему глаза, Ростов избирает благую часть, которая никогда не отнимется от нищих духом и богатых наличными деньгами. Он заливает свои сомнения двумя бутылками вина и, доведя свою гусарскую лихость до надлежащих размеров, начинает кричать на двух

офицеров, выражавших свое неудовольствие по поводу тильзитского мира.

«— И как вы можете судить, что было бы лучше!— закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью.— Как вы можете судить о поступках государя, какое мы имеем право рассуждать?! Мы не можем понять ни цели ни поступков государя!

— Да я ни слова не говорил о государе,—оправдывался офицер, иначе, как тем, что Ростов пьян, не могущий объяснить себе его вспыльчивости.

Но Ростов не слушал его.

— Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты, и больше ничего,—продолжал он,—умирать велят нам—так умирать (этими словами Ростов разрешает сомнения, возбужденные в нем *домом проказженных*). А коли наказывают, так, значит, виноват; не нам судить (это—по денисовскому делу). Угодно государю императору признать Бонапарте императором и заключить с ним союз, значит, так надо (а это примирение с тильзитскими сценами). А то, коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет!—ударяя по столу кричал Николай, весьма некстати, по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей.

— Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и все,—заключил он.

— И пить,—сказал один из офицеров, не желавший ссориться.

— Да, и пить,—подхватил Николай.—Эй ты! Еще бутылку!—крикнул он.

Во-время выпитые две бутылки наградили молодого графа Ростова вернейшим лекарством против разочарований, сомнений и всевозможной мучительной внутренней ломки и переборки. Кому посчастли-

вилось во время первой умственной бури открыть спасительную формулу: *наше дело не думать*, и успокоить себя этою формулою, хотя бы на минуту, хотя бы при содействии двух бутылок, тот, по всей вероятности, всегда будет убежать под защиту этой формулы, как только в нем начнут шевелиться неудобные сомнения и его станет одолевать тревожный позыв к свободному исследованию. *Наше дело не думать*—это такая неприступная позиция, которую не могут разбить никакие свидетельства опыта и перед которою останутся бессильными всякие доказательства. Свободной мысли негде высадиться и ей невозможно укрепиться на том берегу, на котором возвышается эта твердыня. Спасительная формула подрезывает ее при первом ее появлении. Чуть только человек захватит самого себя на деле взвешивания и сопоставления воспринятых впечатлений, чуть только он подметит в себе поползновение размышлять и обобщать невольно собранные факты,—он тотчас, опираясь на свою формулу и припоминая то чудесное успокоение, которое она ему доставила, скажет себе, что это грех, что это дьявольское навождение, что это болезнь, и пойдет лечиться вином, криком, цыганами, псовою охотою и вообще тою пестрою сменою сильных ощущений, которую может доставить себе плотно-сложенный и состоятельный русский дворянин.

Если вы станете доказывать такому укрепившемуся человеку, что его спасительная формула неразумна, то ваши доказательства пропадут даром. Формула и с этой стороны обнаружит свою несокрушимость. Драгоценнейшее из ее достоинств состоит именно в том, что она не нуждается ни в каких разумных основаниях и даже исключает возможность таких оснований. В самом деле, чтобы доказывать разумность или неразумность формулы, чтобы нападать или защищать ее, надо думать, а так как *наше дело*

не думать, то и всякого рода доказывания, сами по себе, независимо от тех целей, к которым они клонятся, должны быть признаны излишними и предосудительными

Ростов остается неизменно верен правилу, открытому в тильзитском трактире, при содействии двух бутылок вина. Мышление не обнаруживает никакого влияния на всю его дальнейшую жизнь. Сомнения не нарушают больше его душевного спокойствия. Он знает и хочет знать только свою службу и благородные развлечения, свойственные богатому помещику и лихому гусару. Его ум отказывается от всякой работы, даже от той, которая необходима для спасения родового имущества от козней плутующего, но, очевидно, малограмотного приказчика Митеньки.

Он с большею энергиею кричит на Митеньку и очень ловко толкает его ногой и коленкой под зад, но после этой бурной сцены Митенька остается полновластным распорядителем в имении, и дела продолжают идти прежним порядком.

Не умея даже привести в порядок свои денежные дела и унять домашнего вора, Ростов тем более не умеет и не желает осмысливать свою жизнь каким-нибудь занятием, требующим сколько-нибудь сложных и последовательных умственных операций. Книги для него, повидимому, не существуют. Чтение, кажется, не занимает в его жизни никакого места, даже как средство убивать время. Даже московская светская жизнь представляется ему слишком запутанною и мудреною, слишком переполненною сложными соображениями и головоломными тонкостями. Его удовлетворяет вполне только жизнь в полку, где все определено и размерено, где все ясно и просто, где думать решительно не о чем и где нет места для колебаний и свободного выбора. Ему нравится полковая

жизнь в мирное время, нравится именно тем, чем она невыносима человеку, сколько-нибудь способному мыслить: нравится своею спокойною праздною, невозмутимую рутинностью, сонным однообразием и теми оковами, которые она налагает на всевозможные проявления личной изобретательности и оригинальности

Так как мир мысли закрыт для Ростова, то развитие его на двадцатом году жизни оказывается законченным. К двадцати годам все содержание жизни для него уже исчерпано; ему остается только сначала грубеть и глупеть, а потом дряхлеть и разлагаться. Это отсутствие будущности, это роковое бесплодие и неизбежное увядание скрыты от глаз поверхностного наблюдателя внешним видом свежести, силы и отзывчивости. Глядя на Ростова, поверхностный наблюдатель скажет с удовольствием: как в этом молодом человеке много огня и энергии! Как смело и весело он смотрит на жизнь! Какое в нем обилие неиспорченной и нерастраченной юности!

На такого поверхностного наблюдателя Ростов произведет, по всей вероятности, отрадное впечатление, Ростов ему понравится, как он, без сомнения, понравился многим читателям и даже, быть может, самому автору романа. Поверхностному наблюдателю не придет в голову, что в Ростове нет именно того, что составляет самую существенную и глубоко-трогательную прелесть здоровой и свежей молодости.

Когда мы смотрим на сильное и молодое существо, то нас волнует радостная надежда, что его силы вырастут, развернутся, приложатся к делу, примут деятельное участие в великой житейской борьбе, увеличат хоть немного массу существующего на земле живительного счастья и уничтожат хоть частицу накопившихся нелепостей, безобразий и страданий. Мы еще не знаем той границы, на которой остановится

развитие этих сил, и именно эта неизвестность составляет в наших глазах величайшую обаятельность молодого существа. Кто знает,—думаем мы,—может быть, тут вырабатывается перед нами что-то очень большое, чистое, светлое, сильное и неустрашимое. Молодое существо, полное жизни и энергии, составляет для нас самую занимательную загадку, и эта загадочность придает ему особенную привлекательность.

Именно этой обаятельной загадочности нет в Ростове, и только поверхностный наблюдатель может, глядя на него, сохранять неопределенную надежду, что его нерастраченные силы на чем-нибудь хорошем сосредоточатся и к чему-нибудь дельному приложатся. Только поверхностный наблюдатель может, любуясь его живостью и пылкостью, оставлять в стороне вопрос о том, пригодится ли на что-нибудь эта живость и пылкость.

Поверхностный наблюдатель способен залюбоваться юношескою горячностью Ростова, например, во время псовой охоты, когда он обращается к Богу с мольбою о том, чтобы волк вышел на него, когда он говорит, изнемогая от волнения: «Ну, что Тебе стоит сделать это для меня? Знаю, что Ты велик и что грех Тебя просить об этом; но ради Бога сделай, чтобы на меня вылез матерый и чтобы Карай, на глазах дядюшки, который вон оттуда смотрит, впелся ему мертвой хваткой в горло»,—когда он во время травли переходит от беспредельной радости к самому мрачному отчаянию, с плачем называет старого кобеля Карая отцом и, наконец, чувствует себя счастливым, видя волка, окруженного и разрываемого собаками.

Кто не останавливается на веселой наружности явлений, того шумная и оживленная сцена охоты наведет на самые печальные размышления. Если такая мелочь, такая дрянь, как борьба волка с не-

сколькими собаками, может доставить человеку полный комплект сильных ощущений, от иступленного отчаяния до безумной радости, со всеми промежуточными полутонами и переливами, то зачем же этот человек будет заботиться о расширении и углублении своей жизни? Зачем ему искать себе работы, зачем ему создавать себе интересы в обширном и бурном море общественной жизни, когда конюшня, псарня и ближайший лес с избытком удовлетворяют все потребности его нервной системы?

Разбор отношений Ростова к любимой женщине, анализ других характеров, более сложных, именно: Пьера Безухова, князя Андрея Болконского и Наташи Ростовой, а также общие выводы касательно всего общества, изображенного в романе, я считаю необходимым отложить до выхода в свет четвертого тома.

СОДЕРЖАНИЕ.

	стр.
1) Промахи незрелой жизни	3
2) Старое барство	75

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва — Петроград.

- ГЕРАСИМОВ, М.—Железное цветение. Стихи. Кн. 1-ая. 132 стран. Ц.
- ГЕТЕ, В.—Фауст. Часть I. Перевод Н. А. Холодковского под редакц. М. Л. Лозинского. Предисловие В. М. Жирмунского (Серия «Всемирная Литература»). 317 стран. Ц.
- ЕГО ЖЕ.—Фауст. Часть II. Перевод Н. А. Холодковского. Под редакцией М. Л. Лозинского (Серия «Всемирная Литература»). 343 стран. Ц. 1 р. 15 к.
- ЕГО ЖЕ.—Страдания юного Вертера. Перевод И. Б. Мандельштама, редакц. и предисловие А. Г. Горнфельда (Серия «Всемирная Литература»). 132 стран. Ц.
- ГЗЕЛЛЬ, П.—Беседы Анатоля Франса. Перевод Е. Мечниковой под редакц. Н. Радлова (Серия «Всемирная Литература»). 217 стран. Ц.
- ГЛОБА, А.—Уот Тайлер. С рис. художн. М. Соломонова. 80 стран. Ц.
- ГОЛЬДШМИДТ, М.—Еврей. Перевод с датского М. П. Благовещенского. 221 стран. Ц.
- ГРА, ФЕЛИКС.—Марсельцы. 128 стран. Ц.
- ЕГО ЖЕ.—Террор. Роман. 368 стран. Ц.
- ДАНИЛОВСКИЙ, Г.—Мария Магдалина. Роман. Перевод с польского Е. Троповского. Предисловие А. Г. Горнфельда. 311 стран. Ц. 1 р. 10 к.
- ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М.—Записки из Мертвого Дома. Роман в двух частях. 361 стран. Ц. 60 коп.
- ЕГО ЖЕ.—Униженные и оскорбленные. Ч. I и II. 216 стран. Ц. 36 коп.
- ЕГО ЖЕ.—Униженные и оскорбленные. Ч. III и IV. 236 стран. Ц. 45 коп.
- ЖЕРОМСКИЙ, С.—Сизифов труд. 200 стран. Ц. 1 руб.
- ЗДЕНКО-ФОН-КРАФТ.—Баррикады. Роман. Перевод.
- ИБАННЕС, БЛАСКО.—Отбросы жизни. Роман. Перевод с испанского А. Вольтера. 270 стран. Ц.
- ИВАНОВ, В.—Сопки. Партизанские повести. 338 стран. Ц.
- КАЙЗЕР, ГЕОРГ.—Газ. Драма в трех действиях. Перевод Г. А. Зуккау под редакц. А. Н. Горлина. 117 стран. Ц.
- ЕГО ЖЕ.—Драмы. Вступительная статья А. В. Луначарского. 298 стран. Ц. 2 руб.
- КЛЕЙСТ, ГЕЙНРИХ.—Собрание сочинений т. I. Переводы Пастернака и А. Н. Оношкович-Яцына. Редакция Н. С. Гумилева и В. А. Зоргенфрея. 258 стран. Ц. 1 р. 75 к.